С. Л. ТОЛСТОЙ

ФЕДОР ТОЛСТОЙ АМЕРИКАНЕЦ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сергей Львович Толстой (1863–1947) — русский советский мемуарист, композитор, сын великого русского писателя Л. Н. Толстого.

Книга посвящена Федору Ивановичу Толстому (1782–1846), по словам его двоюродного племянника Льва Толстого, «человеку преступному и привлекательному», прожившему бурную, полную приключений жизнь. Он дважды был разжалован в, солдаты, известен своими похождениями па Камчатке и Алеутских островах, за что и получил прозвище «Американец». Дружил с П. А. Вяземским, Д. В. Давыдовым, К. Н. Батюшковым, был в приятельских отношениях с А. С. Пушкиным. Авантюрист, бретер и карточный игрок, Ф. И. Толстой послужил литературным прототипом А. С. Грибоедову, А. С. Пушкину, Л. Н. Толстому, И. С Тургеневу.

- Толстой С. Л
- Федор Толстой Американец
- Предисловие
- ГЛАВА I Происхождение. Детство. Морской корпус. Преображенский полк. Дуэль с Дризеном
- ГЛАВА II Путешествие вокруг света
- ГЛАВА III Возвращение. Шведская война. Дуэли с Бруновым и Нарышкиным. Крепость. Разжалование. Бородино. Восстановление в правах
- ГЛАВА IV Жизнь в Москве. Опять дуэли. Картежная игра. Приятели. Женитьба
- ГЛАВА V Ссора и примирение с Пушкиным
- ГЛАВА VI Письма Ф. И. Толстого к князю В. Ф. Гагарину
- ГЛАВА VII Последние годы Ф. Толстого по рассказам князя П. А. Вяземского, А. Герцена, Л. Толстого, М. Каменской, Ф. Булгарина, А. Стаховича и других
- ГЛАВА VIII Тип Американца Толстого в русской литературе (у Грибоедова, Пушкина, Льва Толстого и других)
- ГЛАВА IX Смерть Федора Толстого. Его семья. Заключение
- ИСТОЧНИКИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40

Толстой С. Л

Федор Толстой Американец

Предисловие

Граф Федор Иванович Толстой, прозванный Американцем, был человек необыкновенный, преступный и привлекательный; так о нем выразился его двоюродный племянник Лев Толстой. Он прожил бурную жизнь, нередко преступая основы общечеловеческой нравственности и игнорируя уголовный кодекс. Вместе с тем он был человек храбрый, энергичный, неглупый, остроумный, образованный для своего времени и преданный друг своих друзей.

Его жизнь интересна, во-первых, как жизнь необыкновенного человека, полная занимательных происшествий, во-вторых, потому, что она отражает в себе быт эпохи, в которой он жил, в-третьих, потому, что он был в приятельских отношениях с некоторыми выдающимися людьми своего времени, и, в-четвертых, потому, что его резко выраженная индивидуальность послужила материалом для нескольких произведений лучших русских писателей.

Материалом для настоящего очерка послужили рассказы и упоминания об Американце Толстом, разбросанные в разных мемуарах и исторических журналах, труды историков литературы, в особенности примечания В. И. Саитова к переписке кн. Вяземского с А. И. Тургеневым, и статьи Лернера в сборнике «Пушкин и его современники», а также недавно найденные 9 писем Ф. И. Толстого к кн. В. Ф. Гагарину и несколько рассказов, мною слышанных от моего отца Л. Н. Толстого и других лиц.

Из написанного самим Федором Толстым мне известны только его эпиграмма на Пушкина и письма его к кн. В. Ф. Гагарину. Есть указание на то, что он сам писал свои мемуары, Но судьба их неизвестна.

К сожалению, источники, которыми мне приходилось пользоваться, хотя и многочисленны, но не богаты точными сведениями и нередко недоброкачественны. Вокруг Американца Толстого создался целый цикл легендарных рассказов, записанных авторами разных мемуаров; документальных же данных о его жизни — очень немного. Поэтому некоторые обстоятельства его жизни, например, вопрос о том, где и как он покинул экспедицию Крузенштерна, остаются невыясненными.

Считаю своим приятным долгом выразить мою глубокую благодарность М. А. Цявловскому, давшему мне много ценных указаний и позволившему мне пользоваться его библиотекой, и Н. М. Мендельсону, предоставившему мне письма Ф. Толстого к кн. В. Ф. Гагарину.

ГЛАВА I Происхождение. Детство. Морской корпус. Преображенский полк. Дуэль с Дризеном

Граф Федор Иванович Толстой по отцу происходит из обедневшего рода графов Толстых. Родоначальник этого рода, известный Петр Андреевич Толстой, достиг высоких должностей при Петре I, получил титул графа и нажил себе большое состояние, но после смерти Петра за участие в суде над Алексеем Петровичем и интриги против Меншикова был лишен титула, всех чинов и состояния и сослан в Соловки, где и умер 84-х лет. В 1760 году Елизавета Петровна вернула потомков Петра Андреевича из ссылки, и им были возвращены титул и часть их имений, но у Андрея Ивановича Толстого, деда Американца, было 4 брата и 5 сестер, а у его отца Ивана Андреевича было 5 братьев и 5 сестер, достигших зрелых лет, и остатки состояния Толстых распылились между многочисленными потомками Петра Андреевича. Каждому из них досталось немного, и имущественное положение лишь некоторых из них поправилось женитьбою на богатых невестах.

Отец Федора Ивановича Иван Андреевич родился в 1747 году (то есть еще до восстановления графов Толстых в их правах), служил на военной службе, в 1794 году был кологривским предводителем дворянства, дослужился до генерал-майора и умер в старости после 1811 года.

Мать Федора Ивановича Анна Федоровна (1761? —1834), дочь сержанта Семеновского полка Федора-Ивановича Майкова, происходила из почтенного, но сравнительно незнатного и небогатого рода Майковых. К этому роду принадлежал святой Нил Сорский, «по реклу Майков» (1433–1508). В одном из своих писаний Нил Сорский говорит: «О себе же не смею творити что, понеже невежа и поселянин есмь». Может быть, он действительно происходил из поселян, но может быть, эти слова имеют лишь риторический смысл. Современником Нила Сорского был дьяк вел. кн. Василия Васильевича Андрей Майко. В 1591 году губным старостой в Рязани был Иван Майков. От него Майковы и ведут свой род. Поэт Аполлон Майков и академик Леонид Майков — его же потомки.

Майковы владели имениями в Ярославской и Костромской губерниях. В тех же губерниях находились имения Толстых. Отсюда понятно знакомство между этими двумя семьями, —

последствием которого была женитьба И. А. Толстого на А. Ф. Майковой.

Можно предположить, что Иван Андреевич Толстой был верноподданным своих государей и убежденный дворянин, не вольтерианец и не франкмасон, иначе его и не выбрали бы в предводители. Анна Федоровна была вероятно благочестива — ведь к роду Майковых принадлежал святой Нил Сорский. Они были сравнительно небогатыми, уважаемыми помещиками средней руки, занимавшими видное положение разве только в глуши — в Кологривском уезде. Il n'y a de vrai bonheur, que dans les voies communes[1], сказал какой-то писатель, и родители Федора Ивановича были, вероятно, счастливы в житейском смысле.

У них было три сына: Федор, Петр, Януарий и четыре дочери: Мария, Вера, Анна и Екатерина. Надо было устроить будущность этой многочисленной семьи, что и было сделано так, как это полагалось в дворянских семьях. Сыновья были отданы в кадетские корпуса, а дочери, кроме Анны, умершей в молодости, были выданы замуж[2].

Федор Иванович родился 6 февраля 1782 года, где именно — сведений «нет; вероятно, он родился и провел свое детство в имении своих родителей, в Кологривском уезде. В деревне, в глуши Костромской губернии он запасся хорошим здоровьем и там же, в атмосфере крепостного права, его буйный нрав развертывался вовсю, сдерживаемый разве только его отцом, человеком военным, следовательно, знакомым с дисциплиной. Если верить Вигелю, Федор Иванович уже с юных лет проявлял жестокость. Про него рассказывали, пишет Вигель, будто в отрочестве он любил ловить крыс и лягушек, перочинным ножом разрезывал им брюхо и по целым часам тешился их смертельной мукой.

Образование он получил в Морском корпусе. Надо предполагать, что там он выказал свои хорошие способности, поведение же его едва ли было образцовым.

Из Морского корпуса он почему-то поступил не в моряки, а в гвардию — в Преображенский полк.

Федор Иванович был среднего роста, плотен, силен, красив и хорошо сложен, лицо его было кругло, полно и смугло, вьющиеся волосы были черны и густы, черные глаза его блестели, а когда он сердился, говорит Булгарин, страшно было заглянуть ему в глаза.

Остроумный, страстный и живой, он был привлекателен не только для женщин, но и для тех своих товарищей, с которыми дружил или отношениями с которыми дорожил. Наоборот, люди ему не симпатичные или не нужные не любили его и боялись.

Самолюбивый, дерзкий и смелый, он не только не прощал обиды, но сам вел себя вызывающе. Последствием этого являлись дуэли, бывшие в то время в моде. А он не только не избегал дуэлей, но даже любил их. Ф. Булгарин пишет про него: «Он был опасный соперник, потому что стрелял превосходно из пистолета, фехтовал не хуже Севербека (общего учителя фехтования того времени) и рубился мастерски на саблях. При этом он был точно храбр и, не взирая на пылкость характера, хладнокровен и в сражении и в поединке».

В ту эпоху в известной среде поощрялась удаль, в чем бы она ни выражалась; удальцом считался не только человек храбрый на войне, но и смелый человек, пренебрегающий опасностью, общепринятыми формами жизни и даже уголовщиной. Рискованные и нередко предосудительные поступки делались ради шутки, для выигрыша пари, для некоторой славы геростратовского пошиба или просто для собственного удовольствия. Такого рода удаль вполне соответствовала характеру Федора Ивановича.

К этому его побуждал его буйный нрав, а также некоторого рода тщеславие, желание выдвинуться, заставить о себе говорить. Толстой был «человек эксцентрический, — говорит про него Ф. Булгарин, — т. е. имел особый характер, выходивший из обыкновенных светских форм, и во всем любил одни крайности. Все, что делали другие, он делал вдесятеро сильнее. Тогда было в моде *молодечество*, а гр. Толстой довел его до *отчаянности*. Он поднимался на воздушном шаре вместе с Гарнером и волонтером пустился в путешествие вокруг света вместе с Крузенштерном[3]».

Его проказы, дуэли, крупная, нередко недобросовестная игра в карты, его шутки сомнительного достоинства, нарушение дисциплины и т. п. начались уже в Преображенском полку. В истории Преображенского полка значится, что 9 сентября 1798 г. он был произведен из полковых «портупей-прапорщиков» в офицеры. Но через полгода, 5 марта 1799 года он был выписан в гарнизонный Вязьмитинский полк, — очевидно, за какую-нибудь проделку. Через несколько дней (19 марта) он был возвращен в полк.

Затем у него была дуэль с полковником Дризеном.

Д. В. Грудев[4] передает рассказ о том, как Федор Иванович «наплевал на полковника Дризена», последствием чего была дуэль. Неизвестно, чем кончилась эта дуэль, был ли ранен или убит полковник Дризен и был ли наказан и как наказан Толстой. В нескольких мемуарах говорится, что тогда он был разжалован в солдаты. Однако это неверно: после этого он был в плавании на «Надежде» в качестве кавалера посольства Резанова в чине

поручика гвардии и в мундире Преображенского полка. М. Ф. Каменская, его двоюродная племянница, пишет, что он воспитывался в Морском корпусе вместе с ее отцом Федором Петровичем Толстым (известным впоследствии художником), и когда Федор Петрович, не выносивший морской качки, отказался идти в кругосветное плавание, то на его место был назначен его двоюродный брат Федор Иванович. Вероятно, для того, чтобы Федора Ивановича избавить от наказания, а Федора Петровича избавить от плавания, Толстые выхлопотали замену одного Федор Толстого другим Федором Толстым.

ГЛАВА II Путешествие вокруг света

Так или иначе, в августе 1803 года Федор Иванович отправился в кругосветное плавание.

Экспедиция Крузенштерна была первым кругосветным плаванием русских кораблей. Были снаряжены два парусных корабля «Надежда» и «Нева» под общей командой капитан-лейтенанта Ивана Крузенштерна.

На «Надежде» находились: командир Иван Крузенштерн, 52 человека команды, естествоиспытатели Тилезиус и Лансдорф, астроном Горнер, живописец Степан Курляндцев, доктор Бринкен, приказчик американской компании Ф. Шемелин, посланник для заключения торгового договора с Японией камергер Николай Петрович Резанов и при нем «молодые благовоспитанные особы в качестве кавалеров посольства»: майор свиты Ермолай Фридериций, гвардии поручик граф Ф. И. Толстой, Надворный советник Ф. Нос, а также сержант артиллерии Алексей Раевский и кадеты Сухопутного кадетского корпуса Отто и Мориц Коцебу.

Из этого списка видно, что по иронии судьбы Ф. И. Толстой фигурировал в экспедиции в качестве «молодой благовоспитанной особы».

На «Неве» находились: командир капитан-лейтенант Юрий Лисянский, команда в 45 человек, доктор, иеромонах Гедеон и приказчик американской компании Коробицын. Кроме того, на корабли были взяты несколько японцев из Иркутска, потерпевших крушение у русских берегов, с тем, чтобы их высадить в Японии.

«Надежда» и «Нева» отплыли из Кронштадта 7 августа 1803 года по новому стилю. Они останавливались в Копенгагене, в Фальмуте и в Санта-Круце у одного из Канарских островов. Крузенштерн отметил нищету, разврат и вороватость населения Санта-Круца, произвол губернатора и средневековые приемы еще действовавшей там инквизиции.

14 ноября в первый раз русский флаг вступил в Южное полушарие. При прохождении через экватор матрос Павел Курганов изображал Нептуна с трезубцем, но настоящего празднования не было: Крузенштерн боялся, что команда выйдет из повиновения.

Следующая стоянка была между островом Св. Екатерины и берегом Бразилии, в виду города Ностера-Сенеро-дель-Дестеро. Здесь семь недель простояли на якоре; делали новую грот-мачту для «Невы» и готовились к трудному переходу вокруг Южной Америки; здесь, по каким-то политическим соображениям, Крузенштерн никого не пускал на берег.

2 февраля 1804 года отплыли. Проходя мимо Патагонии, встретили более 20 китов, и так близко, что Крузенштерн опасался, как бы киты не попали под корабль и не опрокинули его. 3 марта благополучно обогнули мыс Горн.

24 марта «Надежда» потеряла из вида «Неву», а 7 мая кинула якорь у Нука-Гивы, самого большого острова Вашингтоновского архипелага, в настоящее время более известного под названием Маркизских островов.

Несколько сот голых островитян вплавь окружили «Надежду», предлагая кокосы, плоды хлебного дерева, бананы и т. п. Вслед за ними подплыл англичанин, на котором так же, как и на туземцах, кроме пояса, никакой одежды не было. Он был женат на туземке и уже 7 лет жил на острове. Через него, как толмача, началась оживленная меновая торговля; туземцы были особенно падки на изделия из металлов.

Затем на корабль прибыл сам король Нука-Гивы Танега Кеттонове, человек лет 45-ти, темнокожий, сильный и благообразный. На нем также ничего, кроме пояса, не было, но он был татуирован с головы до ног. Федор Иванович забавлялся тем, что заставлял короля исполнять должность собаки: поплюет на щепку, закинет в море и крикнет: пиль, апорт! Король плавал за щепкой, схватывал ее зубами и преподносил Толстому[5].

В один из следующих дней более ста женщин стали плавать вокруг корабля и, пишет Крузенштерн, «употребляли все искусства, как настоящие в том мастерицы, к обнаружению намерения их посещения». Крузенштерн пустил их на два дня на корабль. Очевидно, Федор Иванович не преминул воспользоваться их визитом. Как потом оказалось, эти женщины были посланы их отцами и мужьями для того, чтобы приобрести куски железа, материи и т. д.

Крузенштерн на катере отправился на остров и отдал визит королю. Его встретил дядя короля, старик лет 75-ти, но сильный и здоровый. Он его повел на участок земли, отведенный королю, куда толпа любопытных туземцев, следовавших за европейцами, не посмела войти; этот участок был заповедный — табу. Король был гостеприимен, а дочь его красива даже с европейской точки зрения.

На острове оказалась некоторого рода культура: огороды, шелковичные деревья, банановые пальмы, та-ро, леса кокосовых и хлебных деревьев. Тем не менее нукагивцы не были людоедами. Они постоянно воевали с соседними островитянами и съедали убитых и пленных. Естествоиспытатель Тилезиус записал слова и музыку одной песни нукагивцев, воспевающую печаль родственников съеденного мужчины. Эта песня пелась на хроматическом

glissando вверх и вниз в пределах малой терции. В сущности это был мрачный вой, а не песня.

В продолжение всей стоянки «Надежды» у острова один нукагивец находил для себя много работы на корабле. Почти каждый из корабельных служителей приглашал его сделать какой-либо узор на своем теле. Тогда же, вероятно, был татуирован и Федор Иванович.

На Нука-Гиве, кроме англичанина, жил также уже несколько лет один француз; он враждовал с англичанином и, по словам Крузенштерна, совсем одичал. Он даже охотился на врагов той общины туземцев, среди которых жил, но уверял Крузенштерна, что сам не ел человеческого мяса. Этот «дикой француз», как его называет Крузенштерн, захотел вернуться на родину и был взят на борт «Надежды» с тем, чтобы его высадить в Камчатке.

У Нука-Гивы «Нева» присоединилась к «Надежде», и оба корабля направились к Сандвичевым (Гавайским) островам. «Надежда» два дня держалась около острова Овага и легла на дрейф около одного большого селения. Гавайцы подплывали к кораблю и здесь, так же, как и в Нука-Гиве, происходила меновая торговля. Здесь корабли расстались, и надолго[6]. «Нева» отплыла к Каракоа и к русским американским колониям, а «Надежда» пошла прямо в Камчатку и через 35 дней, 14 июня 1804 года, вошла в Камчатский порт св. Петра и Павла. Со дня отплытия из Кронштадта прошло более 11 месяцев.

Крузенштерн в описании своего плавания пишет, что во время пребывания экспедиции в Камчатке в свите посланника Резанова произошла перемена: «Поручик гвардии граф Толстой, доктор посольства Бринкен и живописец Курляндцев оставили корабли и отправились в Петербург сухим путем». Приняты вновь кавалерами посольства капитан Федоров и поручик Кошелев.

Такова официальная версия. Однако известно, что Федор Иванович покинул «Надежду» не добровольно, а был удален с нее командиром за свое невозможное поведение, и по некоторым данным можно заключить, что он был высажен не в Камчатке, а на каком-то острове.

Из списка лиц, отправившихся в плавание, видно; что между ними было несколько человек, которым на кораблях нечего было делать; в числе этих праздных людей был Толстой. Между тем его буйный нрав требовал деятельности, и его деятельность проявилась — в зловредных шалостях. Про его поведение на корабле и его высадку существует несколько рассказов. Эти рассказы довольно противоречивы, и из них нельзя с достоверностью заключить, кем и куда он был высажен на берег.

Вот что рассказывает его двоюродная племянница М. Ф.

Каменская, лично его знавшая. «На корабле Федор Иванович придумывал непозволительные шалости. Сначала Крузенштерн смотрел на них сквозь пальцы, но потом пришлось сажать его под арест. Но за каждое наказание он платил начальству новыми выходками, он перессорил всех офицеров и матросов, да как перессорил! Хоть сейчас же на ножи! Всякую минуту могло произойти несчастье, а Федор Иванович потирал себе руки. Старичок корабельный священник был слаб на вино. Федор Иванович напоил его до сложения риз и, когда священник как мертвый лежал на палубе, припечатал его бороду сургучом к полу казенной печатью украденной у Крузенштерна. Припечатал и сидел над ним; а когда священник проснулся и хотел приподняться, Федор Иванович крикнул: «Лежи, не смей! Видишь, казенная печать!» Пришлось бороду подстричь под самый подбородок».

«На корабле был ловкий, умный и переимчивый орангутанг. Раз, когда Крузенштерн отплыл на катере куда-то на берег, Толстой затащил орангутанга в его каюту, открыл тетради с его записками, положил их на стол, сверху положил лист чистой бумаги и на глазах обезьяны стал марать и поливать чернилами белый лист. Обезьяна внимательно смотрела. Тогда Федор Иванович снял с записок замазанный лист, положил его себе в карман и вышел из каюты. Орангутанг, оставшись один, так усердно стал подражать Федору Ивановичу, что уничтожил все записи Крузенштерна. За это Крузенштерн высадил Толстого на какой-то малоизвестный остров и сейчас же отплыл. Судя по рассказам Федора Ивановича, он и на острове продолжал бедокурить, живя с дикарями, пока какой-то благодетельный корабль не подобрал его — татуированного с головы до-ног».

«Он рассказывал, что во время его пребывания в Америке, когда он был на шаг от пропасти, ему явилось лучезарное видение святого, осадило его назад, и он был спасен. Заглянув в им самим устроенный календарь, он увидел, что это произошло 12 декабря. Значит, святой, который его спас, был св. Спиридоний, патрон всех графов Толстых. С тех пор он заказал себе образ св. Спиридония, который постоянно носил на груди».

Д. В. Грудев передает такой рассказ: «На корабле наклонности Толстого скоро обнаружились, и он такую развел игру и питье, что Крузенштерн решил от него отделаться. Сделана была остановка на Алеутских островах, все сошли и разбрелись по берегу. Сигнал к отъезду был подан как-то неожиданно; все собрались и отплыли, как бы не найдя Толстого. При нем была обезьяна; с нею он пошел гулять, а потом рассказывал для смеха, что первые дни своего одиночества он

питался своей обезьяной»[7].

Новосильцева в своих не всегда достоверных рассказах, слышанных ею от приятеля Толстого — Нащокина, говорит: «Крузенштерн высадил Толстого на остров, оставил ему на всякий случай немного провианта. Когда корабль тронулся, Толстой снял шляпу и поклонился командиру, стоявшему на палубе. Остров оказался населенным дикарями. Среди них Федор Иванович прожил довольно долго. Когда, бродя по морскому берегу, он увидел на свое счастье корабль, шедший вблизи, он зажег костер. Экипаж увидел сигнал, причалил и принял его».

Далее Новосильцева пишет, что в день своего возвращения в Россию Толстой, узнав, что Крузенштерн в этот день дает, бал, явился к нему и благодарил его за то, что весело провел время на острове.

Дочь Федора Ивановича, П. Ф. Перфильева, в своих возражениях на воспоминания Новосильцевой отрицает, что ее отец прямо с дороги попал на бал к Крузенштерну, — он и не мог этого сделать, потому что вернулся в Петербург раньше Крузенштерна, — но она не возражает против рассказа Новосильцевой о высадке его на остров. Следовательно, можно предполагать, что это верно.

Вигель слышал, что Федор Иванович был высажен в Камчатке, но он мог знать одну только официальную версию.

Булгарин пишет: «Вмешавшись в спор Крузенштерна с капитаном Лисянским, Толстой довел доброго и скромного Крузенштерна до того, что тот был вынужден оставить Толстого в наших Американских колониях, и не взял его с собою на обратном пути в Россию. Толстой пробыл некоторое время в Америке, объездил от скуки Алеутские острова, посетил дикие племена Колошей, с которыми ходил на охоту, и возвратился через Петропавловский порт сухим путем в Россию. С этих пор его прозвали Американцем. Дома он одевался по-алеутски, и стены его были увешаны оружием и орудиями дикарей, обитающих по соседству с нашими Американскими колониями… Толстой рассказывал, что Колоши предлагали ему быть их царем».

Из сопоставления вышеприведенных рассказов с описаниями плаваний Крузенштерна и Лисянского можно сделать следующие выводы: во-первых, Федор Иванович покинул «Надежду» не добровольно, а был удален с нее, во-вторых, он побывал в русских американских колониях и, в-третьих, он, вероятно, был высажен не в Камчатке, а на один из островов, принадлежавших к русским владениям. Если, однако, он был высажен на остров, а не в Камчатке, то он не мог быть высажен Крузенштерном. Это следует из того, что Крузенштерн, проплыв безостановочно от Гавайских

островов в Камчатку и пробыв в Камчатке до 6-го сентября, оттуда пошел не в американские колонии, а в Японию; в американских же колониях он был гораздо позднее. Из этого, казалось бы, следует, что Толстой был высажен в Камчатке; но почему же тогда почти во всех воспоминаниях о Толстом говорится, что он был высажен на остров? Чтобы примирить эти противоречия, я сделаю такое предположение: после проказ Толстого (может быть, после порчи бумаг Крузенштерна с помощью обезьяны) не мог ли Крузенштерн, решив отделаться от него, *пересадить его с «Надежды» на «Неву» и поручить Лисянскому высадить его в русских американских колониях?* Ведь «Нева», расставшись с «Надеждой» у Гавайских островов, прямо направилась в русскую Америку.

Булгарин, говоря, что Толстой вмешался в спор между Крузенштерном и Лисянским и довел Крузенштерна до необходимости его высадить, этим самым намекает, что Толстой держал сторону Лисянского. Если это так, то Лисянский мог легко согласиться взять его к себе на «Неву». Возможно, что на «Неве» Толстой продолжал бедокурить; может быть, именно тогда он припечатал бороду священника к палубе; ведь отец Гедеон плыл на «Неве», а не на «Надежде». Тогда Лисянский, в свою очередь выведенный из терпения или просто исполняя приказание Крузенштерна, высадил Толстого на один из островов русской Америки — на Кадьяк или на Ситху или на какой-нибудь остров соседний с Кадьяком или Ситхой.

Хотя в описании своего путешествия Лисянский не упоминает о Федоре Толстом, мне кажется, что высказанные мною предположения примиряют противоречие между отчетом Крузенштерна и рассказами разных лиц о высадке Толстого на остров. Возможны и другие предположения, например, что Крузенштерн удалил Толстого с «Надежды» в Камчатке, а оттуда Толстой на одном из кораблей русско-американской компании, или на другом каком-нибудь судне, отправился на Алеутские острова и на Ситху. Но никаких фактических данных для такого предположения нет.

Николай Михайлович Мендельсон, библиотекарь Публичной библиотеки имени Ленина в Москве, сообщил мне, что законоучитель Иркутской гимназии, где он учился, священник Виноградов рассказывал ему о своей поездке на Ситху, где сохранилась память о посещении Ситхи Американцем Толстым.

Ситха — остров, находящийся недалеко от Канадского берега Северной Америки, восточнее Алеутских островов. Лисянский пишет, что он, проходя мимо Ситхи, пока не стал на якорь, не видел ни жилья, ни человека; леса покрывали все берега, и что

«сколько ему ни случалось видеть необитаемых мест, но оные пустотой и дикостью сравниться с сими не могут». Ситха была обитаема диким племенем, названным русскими Колошами. Название это произошло от слова «колюжка». Женщины этого племени для своего украшения носили на нижней губе кость, деревяшку или раковину, которую русские назвали колюжкой. Отсюда название туземцев: «Колюжки» или «Колоши»; сами же они себя называли «Тлинкит».

Как долго Толстой пробыл на острове, неизвестно. Из рассказа Каменской можно заключить, что еще 12 декабря, когда ему явилось видение, он был где-то на американских или Алеутских островах. После этого какое-то судно, вероятно принадлежавшее русско-американской компании, подобрало его и, с заходом на Алеутские острова, доставило в Камчатку, в Петропавловский порт. Отсюда, уже в начале 1805 года, он через всю Сибирь отправился в Россию. Это путешествие он совершил частью водою, частью на лошадях (может быть и на собаках), а частью — за неимением денег — пешком. В июне он уже был в стране вотяков, где его встретил Вигель.

В рассказах о путешествии Федора Толстого есть одна еще неясность. Это вопрос о его обезьяне. Чего только не рассказывали про эту легендарную обезьяну! Что она была слишком близка ему, что Крузенштерн приказал бросить ее в море за то, что она испортила ему его бумаги, но что Толстой съел ее, а если не съел, то взял с собой на остров, что когда он покидал остров на катере того корабля, который его брал с острова, обезьяна из преданности поплыла за катером и, он упросил матросов взять вместе с ним «его жену» и т. д. Сколько в этих вымыслах правды едва ли может быть выяснено. Достоверно только то, что у Толстого, во время его плавания, была большая обезьяна и что, по-видимому, она была с ним и на острове. Что он ее съел — неверно; Вяземский говорит, что он всегда это отрицал.

Когда мне было лет девять, моя мать повезла меня к дочери Федора Ивановича, Прасковье Федоровне Перфильевой, важной московской барыне. Сидя в ее гостиной, я вдруг почувствовал, что кто-то сзади дергает меня за волосы. Это была небольшая обезьяна. Оказалось, что Прасковья Федоровна, в память обезьяны своего отца, постоянно держала при себе обезьянку.

ГЛАВА III Возвращение. Шведская война. Дуэли с Бруновым и Нарышкиным. Крепость. Разжалование. Бородино. Восстановление в правах

Как бы то ни было, из Камчатки Федор Иванович вернулся в Европейскую Россию сухим путем. Вяземский передает следующий его рассказ об одной встрече в Сибири: «Толстой, высаженный на берег Крузенштерном, возвращался домой пешеходным туристом. Где-то в отдаленной Сибири напал он на одного старика, вероятно, сосланного. Этот старик утешал свое горе родными сивухой и балалайкой. Толстой говорит, что он пел хорошо, но еще лучше играл на своем доморощенном инструменте. Голос его, хотя и пьяный и несколько дребезжащий от старости, был отменно выразителен. Толстой, между прочим, помнил куплет из одной его песни.

Не тужи, не плачь, детинка,
В нос попала кофеинка,
Авось проглочу.

На этом «авось проглочу» голос старика разрывался рыданиями, сам он обливался слезами и говорил, утирая слезы: «Понимаете, ваше сиятельство, всю силу этого «авось проглочу». Толстой добавлял, что редко на сцене и в концертах бывал он более растроган, чем при этой нелепой песне сибирского рапсода[8].

В записках Вигеля есть заметка о встрече его с Толстым среди глухих лесов вотяцкого края, в июне 1805 года, в то время, когда Федор Иванович возвращался через Сибирь в Петербург.

«На одной из станций, — рассказывает Вигель, — мы с удивлением увидели вошедшего к нам офицера в Преображенском мундире. Это был граф Ф. И. Толстой, доселе столь известный под именем Американца. Он делал путешествие вокруг света с Крузенштерном и Резановым, со всеми перессорился, всех перессорил и как опасный человек был высажен на берег в Камчатке и сухим путем возвращался в Петербург. Чего про него не рассказывали…»

Здесь Вигель приводит рассказ о жестокости Ф. И. в детстве и о том, как он будто бы съел свою обезьяну. Далее Вигель пишет:

«Он поразил нас своей наружностью. Природа на голове его круто завила густые черные волосы; глаза его, вероятно от жары и пыли покрасневшие, показались налитыми кровью; почти же меланхолический взгляд его и самый тихий говор его настращенным моим товарищам казался смутным. Я же не понимаю, как не почувствовал ни малейшего страха, а напротив, сильное к нему влечение. Он пробыл с нами недолго, говорил самое обыкновенное, но самую простую речь вел так умно, что мне внутренне было жаль, что он едет от нас, а не с нами. Может быть, он сие заметил, потому что со мною был ласковее, чем с другими, и на дорогу подарил мне стклянницу смородинового сиропа, уверяя, что, приближаясь к более обитаемым местам, в ней нужды не имеет».

Федор Иванович за свои бесчинства поплатился не только своим путешествием и высадкой. «Когда он возвращался из путешествия вокруг света, пишет Вигель, он был остановлен у Петербургской заставы, потом провезен только через столицу и отправлен в Нейшлотскую крепость. Приказом того же дня переведен из Преображенского полка в тамошний гарнизон тем же чином (поручиком). Наказание жестокое для храбреца, который никогда не видал сражений, и в то самое время, когда от Востока до Запада во всей Европе загорелась война»[9].

В глухом местечке, поручиком гарнизона Нейшлотской крепости, Федор Иванович прослужил более двух лет (от конца 1805 года до 1808 года). Все его помыслы были направлены на то, чтобы выбраться оттуда. Вигель пишет, что когда его зять, шеф Митавского полка, генерал Илья Иванович Алексеев прибыл в Сердоболь, Толстой явился к нему и молил взять его с собою на Шведскую войну. «Толстой наружностью и сердцем полюбился Алексееву, и Алексеев представил о том в Петербург, но с выговором получил отказ. Другое дело с Долгоруковым, тому отказать не смели». Князь Михаил Петрович Долгоруков во время шведской войны был командующим Сердобским отрядом, и по его просьбе Толстой был назначен к нему адъютантом.

Липранди в своих замечаниях на записки Вигеля так рассказывает о пребывании Толстого в штабе Долгорукова и о смерти Долгорукова: «Князь знал его издавна и был с ним как со старым товарищем, любил слушать его рассказы, мастерски излагаемые, и не иначе называл его как Федей или Федором. Толстой заведывал походным хозяйством и за столом разливал суп, делал для личного употребления князя конверты (тогда не было еще клееных) и т. п. и сберегался для отчаянных

предприятий».

Отчаянное предприятие скоро представилось. 15 октября 1808 года во время сражения под Иденсальме, чтобы не дать отступающим шведским драгунам времени разобрать мост, князь поручил Толстому с несколькими казаками броситься за шведами и завязать с ними перестрелку, что и было удачно выполнено.

В этот же день, в присутствии Толстого, Долгоруков был убит. По словам Липранди, «при князе оставались только он — Липранди с планом позиции в руках и гр. Толстой с огромной пенковой трубкой. Князь был в сюртуке нараспашку, под которым был шпензер, т. е. мундир без фалд. В правой руке он держал на коротеньком чубуке трубку, в левой — маленькую, зрительную трубу. День был прекрасный, осенний. Князь шел под гору за полками, переправившимися через мост. Вдруг мы услышали удар ядра и в то же время увидели князя, упавшего в яму, из которой выбирали глину около дороги». Толстой и Липранди бросились за ним. «Он лежал на спине. Трехфунтовое ядро ударило его в локоть правой руки и пронзило его стан. Он был бездыханен». Толстой и другие положили его на доску и понесли. «Толстой решительно сказал, что не будет смывать кровь, которой он запачкался, подымая тело, пока она сама не исчезнет, и взял себе шпензер князя».

Толстой и Жадовский повезли тело князя в Петербург. «Но, — пишет Вигель, — как воспрещенье въезжать в столицы с него снято не было, то его опять остановили на заставе. Ему велено было только присутствовать при церемонии погребения и тотчас же выехать из, Петербурга, только уже к Преображенскому батальону, находившемуся в Абове, куда перевели его в память Долгорукова».

Из истории Преображенского полка видно, что он возвращен в полк 31 октября 1808 года.

Вскоре ему удалось отличиться. По приказанию князя Голицына, командира корпуса, действовавшего против шведов, ему поручено было исследовать пролив Иваркен. Он с несколькими казаками дошел до Годденского маяка и донес, что путь хотя труден, но возможен, причем добавил, что шведы в той местности не располагают большими силами. Это донесение дало возможность Барклаю-де-Толли, принявшему командование корпусом, перейти по льду Ботнического залива и с трехтысячным отрядом занять Вестерботнию[10].

А затем, оказавшись в прежней обстановке, Федор Иванович принялся опять за старое. В то время у него были две дуэли, одна с капитаном генерального штаба Бруновым, другая с Александром Ивановичем Нарышкиным, сыном обер-

церемониймейстера И. А. Нарышкина, молодым и красивым офицером, живым и вспыльчивым.

Сохранились три версии его дуэли с Нарышкиным, одна — Вигеля, другая — Липранди, поправляющая Вигеля, а третья Булгарина.

Версия Вигеля такова: «У раненого Алексеева, несколько времени жившего в Або, каждый день собиралась гвардейская молодежь, между прочим старый знакомый его Толстой и молодой Нарышкин. Оба они были влюблены в какую-то шведку, финляндку или чухонку и ревновали ее друг к другу; в один из этих вечеров сидели они рядом за большим карточным столом, шепотом разбранились, на другое утро дрались, и бедный Нарышкин пал от первого выстрела своего противника».

Липранди, версию которого следует считать более достоверной, рассказывает: «Столкновение их произошло за бостонным столом. Играли Алексеев, Ставраков, Толстой и Нарышкин. Разбранки между ними не было, тем еще менее за ревность; в этом отношении они были антиподами. Несколько дней перед тем Толстой прострелил капитана генерального штаба Брунова, вступившегося по сплетням за свою сестру, о которой Толстой сказал словцо, на которое в настоящее время не обратили бы внимания, или бы посмеялись и не более, но надо перенестись в ту пору. Когда словцо это дошло до брата, то он собрал сведения, при ком оно было произнесено. Толстой подозревал (основательно или нет, не знаю), Что Нарышкин, в числе будто бы других, подтвердил сказанное, и Нарышкин знал, что Толстой его подозревает в этом. Играли в бостон с прикупкой. Нарышкин потребовал туза такой-то масти. Он находился у Толстого. Отдавая его, он без всякого сердца, обыкновенным дружеским, всегдашним тоном, присовокупил — тебе бы вот надо этого: относя к другого рода тузу. На другой день Толстой употреблял все средства к примирению, но Нарышкин оставался непреклонен и через несколько часов был смертельно ранен в пах».

Булгарин в своих записках еще подробнее описывает ссору Толстого с Нарышкиным.

«Преображенский полк тогда стоял в Парголове, — пишет Булгарин, — и несколько офицеров собрались у гр. Ф. И. Т. на вечер. Стали играть в карты. Т. держал банк в гальбе-цвельфе. Прапорщик лейб-егерского полка А. И. Н., прекрасный собою юноша, скромный, благовоспитанный, пристал также к игре. В избе было жарко, и многие гости по примеру хозяина сняли свои мундиры. Покупая карту, Н. сказал гр. Т-му: «дай туза». Гр. Т. положил карты, засучил рукава рубахи и, выставя кулаки,

возразил с улыбкой: «изволь»[11]. Это была шутка, но неразборчивая, и Н. обиделся грубым каламбуром, бросил карты и, сказав: «Постой же, я дам тебе туза!» — вышел из комнаты. Мы употребили все средства, чтобы успокоить Н. и даже убедили Ф. И. извиниться и письменно объявить, что он не имел намерения оскорбить его, но Н. был непреклонен и хотел непременно стреляться, говоря, что если бы другой сказал ему это, то он первый бы посмеялся, но от известного дуэлиста, который привык властвовать над другими страхом, он не стерпит никакого неприличного слова. Надобно было драться. Когда противники стали на место, Н. сказал Т-му: «Знай, что если ты не попадешь, то я убью тебя, приставив пистолет ко лбу! Пора тебе кончить!» — «Когда так, так вот тебе», — ответил Т., протянул руку, выстрелил и попал в бок Нарышкину. Рана была смертельна; Н. умер на третий день».

«Вслед за этим, — пишет Вигель, — гвардия выступила обратно походом в Петербург, откуда было прислано приказание вести Толстого арестованным. У Выборгской заставы его опять остановили и послали прямо в крепость. Несколько лет вертелся он около Петербурга и в третий раз едва успел в него попасть».

Неизвестно, как долго просидел Ф. И. в Выборгской крепости. О его пребывании в крепости князь Вяземский рассказывает следующий анекдот. Когда ему показалось, что срок его ареста миновал, он стал бомбардировать коменданта рапортами и. так ему этим надоел, что тот прислал ему выговор и предписание не докучать начальство. Малограмотный писарь в этой бумаге где-то неуместно поставил вопросительный знак. Толстой ухватился за этот знак как за предлог снова приняться за перо. Он написал: «Перечитывая несколько раз с должным вниманием и покорностью предписание вашего превосходительства, отыскал я» в нем вопросительный знак, на который вменяю себе в непременную обязанность ответствовать». И снова он начал писать свои жалобы и требования.

После заключения в крепости Федор Иванович, согласно разным мемуарам и семейному преданию, был разжалован в рядовые. Прямого документального доказательства этому нет. В истории Преображенского полка коротко сказано, что граф Ф. И. Толстой был 2 октября 1811 года «уволен от службы», но не говорится, каким чином он был уволен, а в заметке к его портрету сказано, что он вышел в отставку подполковником. Отсюда, однако, не следует, что он разжалован не был. После разжалования он мог быть прощен и вновь произведен в офицерский чин. Затем известно, что в 1812 году он уже не был военным, а жил частным человеком в своей Калужской деревне. В

1812 году он опять поступил на службу в качестве ратника московского ополчения. На войне он вернул себе чин и ордена и безумной храбростью заслужил Георгия 4-ой степени. При Бородине он был тяжело ранен в ногу.

О своей встрече с ним под Бородином Липранди рассказывает следующее: «Накануне Бородинского сражения под вечер, находясь на строющейся центральной батарее, я услышал, что кто-то отыскивает какого-то полковника графа Толстого. Оказалось, что это мой старый знакомый, в то время начальник ополчения; он из любопытства пошел в цепь посмотреть французов. Его скоро отыскали; мы успели только разменяться несколькими словами и помянуть князя (Долгорукова). Сказав мне, где и чем он командует, он поскакал на призыв. 28-го, до рассвета, отправляясь из Можайска с квартирьерами к Крымскому броду и обгоняя бесчисленные обозы, я услышал из одного экипажа голос графа. Я подъехал к нему. Он был ранен в ногу и предложил мне мадеры. Я кое-как выпроводил его из ряда повозок, и мы расстались».

Из этого отрывка как будто следует, что Толстой при Бородине был уже полковником. В этом, однако, можно усумниться. Вероятно, Липранди называет его полковником потому, что он командовал каким-нибудь отрядом ополчения; это не значит, что он был в чине полковника.

ГЛАВА IV Жизнь в Москве. Опять дуэли. Картежная игра. Приятели. Женитьба

Федор Иванович вышел в отставку полковником и поселился в Москве, в Староконюшенном переулке, изредка наезжая в Петербург и проводя лето в своей подмосковной деревне. Как интересный человек и как один из героев Отечественной войны, он занял видное место в московским светском обществе. Дамы бегали за ним. Однако его поведение не изменилось к лучшему. Он развел еще более широкую карточную игру, и опять у него были дуэли — с кем и с каким результатом, сведений нет. Каменская пишет, что в продолжение всей его жизни им убито, на дуэлях одиннадцать человек. Вероятно, это число преувеличено. Если же это верно, то дуэлей у него было не 11, а большенельзя же предполагать, что каждая его дуэль кончалась смертью противника!

Про одну его дуэль, когда он стрелялся за своего приятеля, существует несколько рассказов, более или менее легендарных. Новосильцева пишет, что этот приятель был — П. А. Нащокин, но дочь Федора Ивановича Перфильева утверждает, что ее отец никогда не дрался на дуэли вместо Нащокина.

А. А. Стахович в своих «Клочках воспоминаний» приводит следующий рассказ, не ручаясь за его достоверность: «Толстой был дружен с одним известным поэтом, лихим кутилой и остроумным человеком, остроты которого бывали чересчур колки и язвительны. Раз, на одной холостой пирушке, один молодой человек не вынес его насмешек и вызвал остряка на дуэль. Озадаченный и отчасти сконфуженный, поэт передал об этом «неожиданном пассаже» своему другу Толстому, который в соседней комнате метал банк. Толстой передал кому-то метать банк, пошел в другую комнату и, не говоря ни слова, дал пощечину молодому человеку, вызвавшему на дуэль его друга. Решено было драться тотчас же; выбрали секундантов, сели на тройки, привезшие цыган, и поскакали за город. Через час Толстой, убив своего противника, вернулся и, шепнув своему другу, что стреляться ему не придется, спокойно продолжал метать банк».

Я слышал от моего отца следующую версию этого рассказа: на одном вечере один приятель Толстого сообщил ему, что только что был вызван на дуэль, и просил его быть его секундантом.

Толстой согласился, и дуэль была назначена на другой день в 11 часов утра; приятель должен был заехать к Толстому и вместе с ним ехать на место дуэли. На другой день в условленное время приятель Толстого приехал к нему, застал его спящим и разбудил.

— В чем дело? — спросонья спросил Толстой.

— Разве ты забыл, — робко спросил приятель, — что ты обещал мне быть моим секундантом?

— Это уже не нужно, — ответил Толстой. — Я его убил.

Оказалось, что накануне Толстой, не говоря ни слова своему приятелю, вызвал его обидчика, условился стреляться в 6 часов утра, убил его, — вернулся домой и лег спать.

«Федор Иванович постоянно выигрывал огромные суммы, — пишет Фаддей Булгарин, — которые тратил на кутежи. В те времена велась повсюду большая карточная игра, особенно в войске. Играли обыкновенно в азартные игры, в которых характер игрока дает преимущество над противником и побеждает самое счастье. Любимые игры были: квинтич, гальбе-цвельве, русская горка, т. е. те игры, где надо прикупать карты. Поиграв несколько времени с человеком, Толстой разгадывал его характер и игру, по лицу узнавал, к каким мастям или картам он прикупает, а сам был тут для всех загадкой, владея физиономией по произволу. Такими стратагемами он разил своих картежных совместников».

Так пишет Булгарин, но известно, что Федор Иванович не довольствовался одними «стратагемами» и нередко играл недобросовестно; слава о нем как о шулере прочно установилась; об этом мы имеем свидетельства Пушкина, Грибоедова, многих других и, наконец, его самого.

Новосильцева передает такой характерный, но легендарный рассказ: «Шла адская игра в клубе. Все разъехались, остались только Толстой и Нащокин. При расчете Федор Иванович объявил, что Нащокин ему должен 20 000 р.

— Я не заплачу, — сказал Нащокин, — вы их записали, но я их не проиграл.

— Может быть, — отвечал Федор Иванович, — но я привык руководствоваться своей записью и докажу это вам.

Он встал, запер дверь, положил на стол пистолет и сказал:

— Он заряжен, заплатите или нет?

— Нет.

— Я вам даю 10 минут на размышление. Нащокин вынул из кармана часы и бумажник и сказал:

— Часы могут стоить 500 р., в бумажнике 25 р. Вот все, что вам достанется, если вы меня убьете, а чтобы скрыть преступление, вам придется заплатить не одну тысячу. Какой же

вам расчет меня убивать?

— Молодец, — крикнул Толстой, — наконец-то я нашел человека!

С этого дня они стали неразлучными друзьями».

П. Ф. Перфильева в своем возражении Новосильцевой с негодованием говорит, что сцена, подобная описанной, невозможна не только в Английском клубе, но и в любом шустер-клубе, и что ее отец никогда не носил с собой пистолета. Но если эта сцена произошла не в клубе и не с Нащокиным и если Толстой не носил с собой пистолета, то все же, вероятно, Толстой где-то, с кем-то разыграл сцену подобную описанной.

Я слышал, насколько мне помнится, от моего отца, такую версию этого рассказа:

— Граф, вы передергиваете, — сказал ему кто-то, играя с ним в карты, — я с вами больше не играю.

— Да, я передергиваю, — сказал Федор Иванович, — но не люблю, когда мне это говорят. Продолжайте играть, а то я разможжу вам голову этим шандалом.

И его партнер продолжал играть и… проигрывать.

Нечто в этом же роде рассказывал Вульф М. И. Семевскому[12]. По его словам, Толстой, играя с Пушкиным, передернул. Пушкин заметил ему это.

— Да, я сам это знаю, — отвечал Толстой, — но не люблю, чтобы мне это замечали.

Вульф говорил, что за это Пушкин будто бы намеревался стреляться с Толстым.

Однако этот случай не мог произойти с Пушкиным, что будет видно из дальнейшего; но что он произошел с кем-то другим, это вполне правдоподобно.

Д. В. Грудев слышал про игру Федора Ивановича следующий рассказ: «На чей-то вопрос: ведь ты играешь наверняка», Толстой отвечал: «Только дураки играют на счастье». Он говаривал, что у него есть *шавки* (преданные ему люди), всегда нужные *бульдогу*. Раз шавки привезли к нему приезжего купца. Начали играть, сначала как бы шутя, на закуски, ужин и пунш. Эта обстановка сделала свое дело: купец захмелел, увлекся и проиграл 17 000 р., а когда потребовалась расплата, он объявил, что таких денег с собой не имеет.

— Ничего, — заметили ему, — все предусмотрено, есть гербовые бумаги, и нужно написать только обязательство. Купец отказался наотрез, но опять сел за игру и еще проиграл 12 000. Тогда с него потребовали два обязательства; но когда он снова отказался выдать обязательства, его посадили в холодную ванну, и вот, совершенно истерзанный и обессилевший от вина, он

подписал наконец требуемые обязательства. Его уложили спать, а наутро он случившееся с ним забыл. За ним стали ухаживать и предлагать снова попробовать счастья. Ему дали выиграть 3000, заплатили наличными, а с него взяли обязательство в 29 000».

Новосильцева передает следующий случай: раз князь Сергей Григорьевич Волконский (декабрист) пригласил Толстого метать банк, но Ф. И. сказал ему: «Non, mon cher, je vous aime trop pour cela. Si nous jouions, je me laisserais entrainer par l'habitude de corriger la fortune». (Нет, мой милый, я вас слишком люблю для этого. Если мы будем играть, я увлекусь привычкой исправлять ошибки фортуны.)

П. Ф. Перфильева этот рассказ не опровергала.

Живя открыто и роскошно, Федор Иванович любил задавать обеды. Вяземский называет его «обжор, властитель, друг и бог». «Не знаю, есть ли подобный гастроном в Европе!» — восклицает про него Булгарин. «Он не предлагал своим гостям большого числа блюд, но каждое его блюдо было верх поваренного искусства. Столовые припасы он всегда закупал сам. Несколько раз он брал меня с собою, при этом говоря, что первый признак образованности — выбор кухонных припасов и что хорошая пища облагораживает животную оболочку человека, из которой испаряется разум. Напр., он покупал только ту рыбу в садке, которая сильно бьется, т. е. в которой больше жизни. Достоинство мяса он узнавал по цвету, и т. д.».

Поселившись в Москве, Федор Иванович постоянно вращался в литературных кругах. Он был в приятельских отношениях с князем П. А. Вяземским, с Боратынским, с Жуковским[13], А. С. Пушкиным, Вас. Л. Пушкиным, Алексеем Михайловичем Пушкиным, Батюшковым[14], князем Шаликовым, князем Шаховским, И.И. Дмитриевым, Денисом Давыдовым и др. Следы этих отношений можно найти во многих мемуарах и письмах того времени.

Особенно близок был он с князем Петром Андреевичем Вяземским. Вяземский и в стихах и в рассказах выказал к нему большую симпатию. Например, он писал Александру Ивановичу Тургеневу: «Более всех вижу и ценю здесь во многих отношениях Толстого, который человек интересный и любопытный». Со своей стороны Толстой относился к Вяземскому с особым уважением.

Вяземский в своей «Старой записной книжке» отметил много анекдотов про Толстого, а в письме к Тургеневу 19 октября 1818 года дает ему следующую меткую характеристику.

> Американец и цыган,
> На свете нравственном загадка,

Которого как лихорадка
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай,
Которого душа есть пламень,
А ум — холодный эгоист,
Под бурей рока — твердый камень,
В волненьи страсти — легкий лист[15].

Такая характеристика, конечно, должна была льстить Толстому, но он говорил Вяземскому, что считает его не столько tolerant (терпимым, снисходительным), сколько Taleyrand (Талейраном, то есть хитрым дипломатом).

Вяземский в своих письмах не раз упоминает о Толстом. Так, например, 13 декабря 1825 года он пишет А. И. Тургеневу: «Вчера были у нас в Остафьеве Жихарев, Толстой и Денис Давыдов. Последние два смешили нас».

Толстой и Вяземский оба были «пробочниками», кавалерами шуточного «ордена пробки». К числу пробочников принадлежали также Денис Давыдов (известный партизан 12-го года), Василий Львович Пушкин (дядя поэта), Батюшков и другие.

Следующая песня пробочников, сочиненная, вероятно, Буниным, пелась на их собраниях:

Поклонись сосед соседу,
Сосед любит пить вино.
Обойми сосед соседа,
Сосед любит пить вино.
Поцелуй сосед соседа,
Сосед любит пить вино.

Веселый шум, пенье и смехи,
Обмен бутылок и речей,
Так празднует свои потехи
Семья пирующих друзей.

Все искрится — вино и шутки!
Глаза горят, светлеет лоб,
И зачастую в промежутке
За пробкой пробка хлоп да хлоп!
--- —

Нас дружба всех усыновила,

Мы все свои, мы все родня,
Лучи мы одного светила,
Мы искры одного огня.

А дни летят и без возврата!
Как знать? Быть может, близок час,
Когда того ль, другого ль брата
Не досчитаемся средь нас[16].

В одной застольной песне кавалеры пробки так величали Толстого:

А вот и наш Американец!
В день славный под Бородиным
Ты храбро нес солдатский ранец
И щеголял штыком своим.
На память дня того Георгий
Украсил боевую грудь.
Средь наших мирных братских оргий
Вторым ты по Денисе будь![17]

Кто еще, кроме упомянутых лиц, были приятелями Ф. П., видно их двух стихотворений Василия Львовича Пушкина[18]. В первом стихотворении Василий Львович с сожалением отказывается обедать у Толстого:

Что делать, милый мой Толстой,
Обедать у тебя никак мне не возможно.
Страдать подагрою мне велено судьбой,
А с нею разъезжать совсем неосторожно…
---- —

Суровый вид врача, совет его полезный,
Подагра более всего,
Велят мне дома быть. Ты не сердись, любезный!
Я плачу, что лишен обеда твоего.
Почтенный Лафонтен, наш образец, учитель,
Любезный Вяземский, достойный Феба сын,
И Пушкин, балагур, стихов моих хулитель,
Которому Вольтер лишь нравится один,
И пола женского усердный почитатель,
Приятный и в стихах и в прозе наш писатель,
Князь Шаликов — с тобой все будут пировать.

Как мне не горевать?

1816. Москва

Почтенный Лафонтен —. это И. И. Дмитриев, известный баснописец; Вяземский — князь Петр Андреевич — поэт, друг Пушкина; Алексей Михайлович Пушкин — автор шуточных стихов, переводчик Вольтера; Кн. Шаликов — поэт, издатель «Дамского журнала».

В стихотворении «Ответ именинника на поздравление друзей» В. Л. Пушкин, жалуясь на подагру и старость, пишет:

Граф Толстой и князь Гагарин,
Наш остафьевский боярин,
Ржевский, Батюшков — Парни, —
Разцветают ваши дни.
Вам все шутки, мне же горе,
И моя подагра вскоре
Ушибет меня, друзья,
Жалкий именинник я.

Сергей Иванович Гагарин, женатый на сестре Алексея Михайловича Пушкина, впоследствии член Государственного Совета, был известен как агроном, Павел Алексеевич Ржевский был сыном известного Фасона и писателя А. А. Ржевского. Остафьевский боярин — это князь П. А. Вяземский, Батюшков — поэт.

В письмах Жуковского Федор Толстой упоминается не раз. Например 17 апреля 1818 пода Жуковский писал Вяземскому: «Посылаю тебе письмо от Мещерского (Мещевский был сосланный в Сибирь стихотворец). Он прислал мне (Марьину Рощу»-в стихах, и я ее продал за 300 р. Присылай и ты что-нибудь. Толстой обещал также помогать ему»[19]. Из этого видно, что Федор Иванович бывал щедр, что, впрочем, свойственно крупным игрокам.

В 1821 году Ф. И. женился. Произошло это так. в кутежах той эпохи большую роль играли цыгану Тогда — цыгане еще не пели в ресторанах, вроде Яра и Стрельны. Закутившие господа или приглашали их к себе или сами ездили к ним в таборы, где иногда проводили по нескольку дней. Во время своих кутежей с цыганами Ф. И. увлекся одной цыганкой — прелестной певицей по отзыву ее современников — Авдотьей Максимовной Тугаевой, увлек ее и увез к себе.

Каменская рассказывает, что он «долго жил с нею без венчания. Раз, проиграв большую сумму в Английском клубе, он должен был быть выставлен на черную доску за неплатеж проигрыша в срок. Он не хотел пережить этого позора и решил застрелиться. Его цыганка, видя его возбужденное состояние, стала его выспрашивать.

— Что ты лезешь ко мне, — говорил Ф. И., — чем ты мне можешь помочь? Выставят меня на черную доску, и я этого не переживу. Убирайся.

Авдотья Максимовна не отстала от него, узнала, сколько ему нужно было денег, и на другое утро привезла ему потребную сумму.

— Откуда у тебя деньги? — удивился Федор Иванович.

— От тебя же. Мало ты мне дарил. Я все прятала. Теперь возьми их, они — твои.

Ф. И. расчувствовался и обвенчался на своей цыганке».

Венчание произошло 10 января 1821 года.

В том же 1821 году у него родилась дочь Сарра. Рождение дочери или ожидание ее рождения могли также побудить его упорядочить свое семейное положение.

Лев Толстой, не раз бывавший у Авдотьи Максимовны в 40-х и 50-х годах, когда она была уже вдовою, и хорошо знавший дочь Ф. И. Прасковью Федоровну, рассказывал, что, обвенчавшись, Ф. И. поехал вместе со своей молодой женой с визитами во все знакомые ему дома. В некоторых чванных семьях, где раньше, несмотря на его порочную жизнь, его холостого охотно принимали, теперь, когда он приехал с женой-цыганкой, его не приняли. Тогда он, как человек самолюбивый и с чувством собственного достоинства, никогда больше к этим знакомым не ездил.

Авдотья Максимовна оказалась женщиной энергичной и преданной своему мужу. Очевидно, только такая жена могла с ним ужиться; едва ли женщина его же круга могла бы вынести его крутой и своевольный нрав.

ГЛАВА V Ссора и примирение с Пушкиным

Согласно исследованиям Лернера, первоначальным поводом к ссоре Федора Толстого с А. С. Пушкиным послужило одно письмо Толстого к его товарищу по Преображенскому полку князю А. А. Шаховскому (автору известных в своэ время комедий). В этом письме Толстой написал нечто обидное для Пушкина, а Шаховской не постеснился показывать это письмо общим знакомым. Что именно написал Толстой, остается, к сожалению, неизвестным. Пушкин, уезжая на юг, в ссылку, не знал об этом письме и расстался с Толстым по-приятельски. Обидный отзыв дошел до него уже в ссылке. Тогда он написал следующую эпиграмму на Толстого (относимую историками литературы к 1820 году):

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он, — слава Богу —
Только что картежный вор.

Эта эпиграмма в то время напечатана не была, но, конечно, была сообщена Толстому.

Пушкин, однако, этим не удовольствовался.

«Пушкин, — пишет Вяземский, — в жизни ежедневной, в сношениях житейских был непомерно добросердечен и простосердечен, но при некоторых обстоятельствах бывал он злопамятен не только в отношении к недоброжелателям, но и к посторонним и даже приятелям своим. Он, так сказать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в которую вносил материально записывал имена своих должников на лоскутках бумаги, которые я сам видел у него. Это его тешило. Рано или поздно, иногда совершенно случайно, взыскивал он долг и взыскивал с лихвою. В сочинениях его найдешь много следов и свидетельств подобных взысканий. Царапины, нанесенные ему с умыслом или без умысла, не скоро заживали у него».[20]..

Обидный отзыв Толстого, видно, крепко засел в голове

Александра Сергеевича, и в послании к Чаадаеву, появившемся в «Сыне Отечества» в 1821 году (ч. 72, № XXXV, с. 82–84), он почти в тех же выражениях повторил свою эпиграмму. Как известно, текст Пушкина следующий:

Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картежный вор?

Однако эти стихи не были напечатаны в том виде, в каком их написал Пушкин; цензура вычеркнула второй стих. Тогда издатель «Сына Отечества» Н. Греч для сохранения смысла и размера третьего стиха, заменил в нем союз «или» словом «глупца». Напечатано было:

Что нужды было мне в торжественном суде
Глупца философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света…
и т. д.

Увидев искажение своих стихов в печати, Пушкин писал Гречу (21 сент. 1821 г.): «Зачем глупец? Стихи относятся к американцу Толстому, который вовсе не глупец, но лишняя брань не беда». Что Пушкин не считал Толстого за глупца, видно также из письма его к Вяземскому (2 янв. 1822 г.), где он говорит, что если он задел Каченовского в послании к Чаадаеву, то «вовсе не из ненависти к нему, но чтобы поставить с ним на одном ряду Толстого, которого презирать мудренее».

При издании «Кавказского пленника» Пушкин хотел взять эпиграфом к нему стихи Вяземского, относящиеся к Толстому:

Под бурей рока — твердый камень,
В волнениях страсти — легкий лист, —

но он отказался от этого намерения из-за ссоры с Толстым. «Понимаешь, почему я не оставил его?» — спрашивает он Вяземского в письме к нему (от 14окт. 1821 г.).

Вяземский написал Пушкину, что он не одобряет его выпада против Американца. Пушкин ответил ему следующее:

«…-Извини меня, если буду говорить с тобою про Толстого. Мнение твое мне драгоценно. Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся, Знаю, но мое намерение было не заводить остроумную литературную войну, но резкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с которым я расстался приятелем и которого с жаром защищал всякий раз, как представлялся тому случай. Ему показалось забавно сделать из меня неприятеля и смешить на мой счет письмами чердак кн. Шаховского. Я узнал об нем, будучи уже сослан, и, почитая мщение одной из первых христианских добродетелей — в бессилии своего бешенства закидал издали Толстого журнальной грязью. Уголовное обвинение, по твоим словам, выходит из пределов поэзии; я не согласен. Куда недостает меч законов, туда достанет бич сатиры. Горацианская сатира, тонкая, легкая и веселая не устоит против угрюмой злости тяжелого пасквиля. Сам Вольтер это чувствовал. Ты упрекаешь меня в том, что из Кишинева под эгидою ссылки печатаю ругательства на человека, живущего в Москве. Но тогда я не сомневался в своем возвращении. Намерение мое было ехать в Москву, где только и могу совершенно очиститься. Столь явное нападение на гр. Толстого не есть малодушие. Сказывают, что он написал на меня что-то ужасное. Журналисты должны были принять отзыв человека, обруганного в их журнале. Можно подумать, что я с ними заодно, и это меня бесит. Впрочем, я хочу иметь дело с одним Толстым, на бумаге более связываться не хочу. Я бы мог оправдаться перед тобою сильнее и яснее, но уважаю твои связи с человеком, который так мало на тебя походит».

Вульф рассказывал Семевскому, что ссора Толстого с Пушкиным произошла из-за нечестной игры Толстого. Из вышеприведенного письма видно, что это неверно. Это видно также из письма Александра Сергеевича к своему брату Льву от 6 октября 1822 года; он писал ему: «Вся моя ссора с Толстым происходит от нескромности кн. Шаховского».

«Ужасное», написанное Толстым, — это следующая грубая и тяжеловесная эпиграмма:

Сатиры нравственной язвительное жало
С пасквильной клеветой не сходствует нимало.
В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл,
Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил.
Примером ты рази, а не стихом пороки,
И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки.[21]

Эту эпиграмму Толстой послал в редакцию «Сына Отечества»

для напечатания, но редакция благоразумно воздержалась от этого. Неизвестно, была ли она сообщена Пушкину, и если была сообщена, то когда именно; историки же литературы не знали ее до последнего времени, и впервые она была напечатана более чем через сто лет — в 1923 году.

Пушкин не сомневался в том, что его ссора с Толстым должна кончиться дуэлью; он считал, что должен «очиститься», как он писал Вяземскому. Поэтому, живя в Михайловском, он упражнялся в стрельбе из пистолета; при этом он говорил Вульфу, веря в предсказание ворожеи: «Этот меня не убьет, а убьет белокурый, так колдунья напророчила».

В 1825 году, готовя первый сборник своих стихов, Пушкин исключил из послания к Чаадаеву стихи, относящиеся к Толстому, но вовсе не для того, чтобы сделать шаг к примирению с ним. «Вымарал я эти стихи, — писал он Вяземскому в апреле 1825 года, — единственно для тебя, а не потому, что они другим не по нутру». Брату, который вместе с Плетневым хлопотал об издании, он писал 12 июля 1824 года: «О послании к Чаадаеву скажу тебе, что пощечины повторять не нужно. Толстой явится у меня во всем блеске в 4-ой книге Онегина, если его пасквиль этого стоит, а посему попроси его эпиграмму от Вяземского (непременно)». Взял ли Лев Сергеевич эпиграмму Толстого у Вяземского и переслал ли ее Александру Сергеевичу, — неизвестно.

В 1826 году Пушкин получил возможность жить в столицах; теперь он. мог «очиститься», т. е. закончить свою ссору с Толстым дуэлью. П. Бартенев сообщает[22], что С. А. Соболевский, по приезде Пушкина в Москву, отправился к нему и застал его за ужином. Тут же, еще будучи в дорожном платье, Пушкин поручил ему на завтрашний день съездить к Ф. И. Толстому и вызвать его на дуэль; к счастью, Толстой в то время не был в Москве.

Затем дело уладилось. Приятели Пушкина, в особенности Соболевский, помирили их. Почему Толстой пошел на примирение? Не потому, конечно, что боялся быть убитым или раненным. Может быть потому, что он щадил жизнь Пушкина; а может быть потому, что дуэль с Пушкиным угрожала ему разрывом с людьми, дружбою которых он особенно дорожил, — с Вяземским и Жуковским.

Примирение оказалось прочным, и Толстой продолжал вращаться среди литературных друзей Пушкина. Так, например, Пушкин в первый раз читал «Полтаву» в Москве у С. Д. Киселева, причем присутствовали Федор Толстой и Вяземский[23]. Следующая записка 1828 года, приглашающая Толстого на приятельскую пирушку, написана князем Вяземским и подписана

С. Д. Киселевым, Д. Н. Бологовским и Пушкиным[24]:

«Сейчас узнаем, что ты здесь, сделай милость, приезжай. Упитые вином, мы жаждем одного тебя. Бо-логовский, Пушкин, Киселев».

На этой же записке Толстой написал в ответ:

«О, пресвятая и живоначальная троица, являюсь к вам, но в полупитой, не вином, а наливкою, кою приемлете яко предтечу Толстова».

В 1829 году Пушкин поручил Толстому свагать за него Наталью Николаевну Гончарову. Это сватозство было не совсем удачно, но не по вине Толстого. В то время Наталья Николаевна, или, лучше сказать, ее мать, еще не решалась принять предложение Пушкина. Это видно из его письма к своей будущей теще Н. И. Гончаровой, написанного им после того, как Толстой привез ему ее ответ. Он пишет:

«C'est à genoux, c'est en versant des larmes de reconnaissance, que j'aurais du Vous écrire à présent, que le comte Tolstoy m'a rapporte Votre réponse: cette réponse n'est pas un refus, Vous permettez l'espérance. Si Vous avez quelques ordres à me donner veuillez les ardesser au comte Tolstoy, qui me les fera parvenir».

(Теперь, когда гр. Толстой передал мне Ваш ствет, я должен бы писать Вам коленопреклоненный и проливая слезы благодарности: Ваш ответ не отказ, Вы даете мне надежду. Если Вы имеете мне что-либо приказать, соблаговолите адресоваться к гр. Толстому; он мне передаст Ваши приказания.)

ГЛАВА VI Письма Ф. И. Толстого к князю В. Ф. Гагарину

В 1923 году найдены в архиве Римского-Корсакова и хранятся в настоящее время в Ленинской библиотеке (Румянцевский музей) девять писем Ф. И. Толстого к князю Василию Федоровичу Гагарину. Эти письма написаны на почтовой бумаге большого формата, разборчивым почерком без всяких помарок. Орфография фантастическая, например, слово «сделать» написано через букву «з», буква «ять» ставится как попало. На шести письмах выставлены месяц и число, но не год, остальные письма не датированы. Год определяется письмом от 19 апреля, в котором Толстой, жалуясь на свои плохие финансы, пишет: «Сей год я могу как *евреи* (через два «ять») назвать *цорным* годом; он же на беду високосный». Так как из писем видно, что к этому времени жена Толстого родила не менее четырех раз, а его дочь Сарра, родившаяся в 1821 году, была ребенком и ее отец выписывал для нее азбуки, то можно с достоверностью заключить, что упомянутый високосный год был 1828 год.

Пиоьма написаны: четыре письма из Москвы, два из подмосковного имения Толстого — Глебова, одно из какого-то села Троицкого, три письма неизвестно откуда. Письма адресованы: шесть в Париж, два в Тамбовскую губернию, одно — неизвестно куда.

Об адресате писем Толстого Василии Федоровиче Гагарине известно только то, что он в 1827 году лечился в Париже, где ему делали операцию, что в конце года он вернулся в свое Тамбовское имение и умер в 1829 году. Он был сын генерала князя Федора Сергеевича Гагарина (р. в 1757 г.), убитого в 1791 году в Варшаве во время возмущения поляков, и, княгини Прасковьи Юрьевны, рожденной княгини Трубецкой (1762–1848).

У Василия Федоровича была сестра — княгиня Вера Федоровна Вяземская и брат Федор Федорович, о которых не раз говорится в письмах Толстого. Княгиня В. Ф. Вяземская была женой князя П. А. Вяземского, поэта и приятеля Федора Толстого. Пушкин в одном своем письме называет ее доброй и милой бабой, а в другом письме пишет Вяземскому и его жене: «Adieu, князь Вертопрах и княгиня Вертопрахина».

Брат Василия Гагарина князь Федор Федорович Гагарин (р. 1786 г., умер в 1863 г.), прозванный «tete de mort», или «Адамова Голова», был в свое время так же, как и Американец Толстой, известен, как повеса, игрок и кутила, с той, впрочем, разницей,

что Толстой был в сущности человек расчетливый, чего про Гагарина сказать нельзя. Про Гагарина рассказывали, что в 12-м году, служа адъютантом при Бенигсене, он держал пари с офицерами, что доставит Наполеону два фунта чаю, и доставил; только благодаря благосклонности Наполеона он благополучно возвратился в русский лагерь. Граф М. Д. Бутурлин в своих записках пишет, что «его недостатки заключались в человеческой слабости быть везде на первом плане, в эксцентрических выходках или замашках казаться молодым, вопреки своих лет»[25]. В 20-х годах он командовал Клястицким гусарским полком. О нем рассказывали следующий анекдот: приехав однажды на станцию и заказав рябчика, он вышел на двор, вслед за ним вошел в станционную комнату известный московский сорванец, который посягнул на жаркое, хотя ему говорили, что оно заказано другим проезжающим. Возвратясь в комнату и застигнув этого господина с поличным, князь преспокойно пожелал ему хорошего аппетита, но, выставив дуло пистолета, заставил проглотить без отдыха еще 11 рябчиков, за которые заплатил. Года через два по взятии Варшавы он был уволен без прошения за то будто бы, что его видели на варшавских гуляньях в обществе женщин низшего разбора. Вскоре он вновь был принят на службу и назначен бригадным генералом. Как начальника его любили, так как он с офицерами обходился запанибрата. Однажды офицеры поздно вечером метали банк в палатке на ковре. Вдруг поднимается пола палатки и из-под нее вылезает к общему изумлению рука с картой, при словах: «Господа, аттанде, пятерка пик идет *ва-банк*», и вслед за ней выглянула оскалившаяся, черепообразная, полулысая голова князя. Он остался холостяком до конца и был, кажется, без всякого состояния, жил постоянно в Москве одним жалованьем, обедал почти всегда во французских ресторанах…

В 1827 году, как видно из писем Федора Толстого, у Федора Федоровича Гагарина еще оставались какие-то остатки состояния — доля нераздельного имения, принадлежавшего ему, его брату и «сестре; но, по-видимому, своим беспорядочным поведением он расстроил как свой денежные дела, так и дела брата и сестры. Толстой по дружбе с семьей Гагариных заложил за него свое именье, а княгиня В. Ф. Вяземская поручилась за брата. В письме от 18 февраля (1828 г.) Толстой пишет: «Я сам на точке лишиться последнего верного куска, заложенного за князя Федора, или разорить твою сестру Веру, как поручительницу по нем, хоть только и слове. сную; столь верю я ее честному слову».

Вследствие этой сделки имущественно заинтересованный в делах Гагариных и по дружбе с — ними, Толстой взял на себя

поручение наблюдать за делами Василия Федоровича. Вообще он был «добрым приятелем своих друзей», по выражению Жуковского, и приятели охотно давали ему поручения, которые он исполнял толково и добросовестно. Так, Пушкин поручил ему свое сватовство, а Вяземский писал А. И. Тургеневу за границу (18 янв. 1832 г.): «Когда ты будешь иметь некоторого рода официальность за границей, нет неудобства пересылать тебе деньги. Дай доверенность Американцу, если Оболенский не возьмется. Он не Жихарев, и таким образом ты хватишь дубиной через лоб предрассудку»[26]. Поэтому неудивительно, что В. Ф. Гагарин поручил Федору Толстому ведение своих дел. Сообщение о ходе этих дел составляет главный предмет его писем.

Толстой прежде всего хлопочет о получении дополнительной ссуды из ломбарда под имение Гагариных. В письме от 6 июня 1827 года он пишет: «Медленность, с каковой у нас все делается, по чести убийственна. Вот уже около месяца как я подписал бумагу на получение тебе денег» на основании 24-летнего платежа, сулят выдать скоро». Деньги, однако, были выданы более чем полгода спустя.

В письме от 6 сентября Толстой пишет: «Станем говорить о делах твоих. Они весьма плохи, хоть Поспелов и усердствует по оныМ, но, кажется, возможности его не соответствуют доброй его воле и желанию быть тебе полезным. <…> Он жалуется на князя Федора, который якобы чересчур мучит его требованиями денег, которых у него нет и которые, по чести, найти невозможно. Но письмам, которые я имею из Тамбова от твоих управляющих, мне кажется, что там правление смешанное: деспотическое с анархическим, все один на другого жалуются». Поспелов был поверенный Гагарина.

В письме от 13 ноября Толстой пишет: «Тяжко, но сказать тебе должен, любезный друг, сколько здоровье твое требует твоего отсутствия, столько твои хозяйственные дела требуют, напротив, твоего присутствия в России».

В следующем письме Толстой оправдывается от упреков Гагарина в недостаточном радении в его делах. Он пишет: «Есть ли дом выб-ов[27] спит, Поспелов бродит, князь Павел Павлович (Гагарин), взявшийся управлять делами твоего брата князя Федора, бог знает что делает или ничего не делает, а ты нуждаешься, страдаешь от нужд, — в том я, по чести и совести, не виноват… По милости управляющих кн. Гагарина и рыцаря Поспелова я сам на точке «разориться» и, может быть, «разорить» твою добрую великодушную сестру Веру; все это, может, за доброе токмо желание наше спасти от беды князя Федора».

В письме от 12 февраля (1828 г.) Толстой наконец извещает Гагарина, что ему отправляются из ломбарда 5 000 р., что часть его хлеба продана и что «сими кусками заткнуты глотки несносных заимодавцев».

А в письме от 18 февраля он сообщает, что «пришло повеление выдать вам прибавочные деньги из ломбарда без очереди. Давно бы ты мог получить, есть ли бы в бытность твою (в России) начисто сделал раздел с братом».

Получив деньги, Гагарин вернулся в Россию. Следующее письмо Толстого адресовано в село Богословское, Нащокине то ж, Тамбовской губернии. Из этого письма видно, что Толстой давал Гагарину взаймы 1 000 рублей и продолжал помогать ему по хозяйственным делам. Так, он сообщает ему расценку пуха, очевидно присланного Гагариным из имения для продажи в Москве.

В письме от 19 апреля Толстой, по-видимому, отвечает на благодарственное письмо Гагарина за ведение его дел и благодарит его за дружбу и отданный долг, причем, однако, замечает, что, вероятно, произошло «недоумение», потому что он получил не 1 000 р., а менее. В этом же письме он советует не спешить с продажей пуха, а дождаться цены на него, «дабы самому не сделаться легче пуха».

Кроме деловых сообщений в письмах можно найти бытовые черты той эпохи и некоторые подробности о жизни самого Федора Ивановича. Чуть ли не в каждом письме он изъявляет Гагарину свои дружеские чувства, пишет, что нет надобности подогревать или будить его дружбу, что дружба его не дремлет, что она победила его леность, «сию высокую добродетель души и тела моего», как он выражается. Однако именно эти излияния наводят на мысль, что особенно тесной дружбы между ними не было: ведь близким друзьям не! надобности постоянно твердить о своей дружбе; в то же время видно, что Толстой очень дорожил дружбой как с Гагариными, так особенно с Вяземским.

Между прочим, в письме от 3 ноября (1827 г.) Толстой пишет про Вяземского, что он редко его видит; потому что Вяземский «поутру на похоронах, в полдень на крестинах, а к вечеру до утра на балах, но в ту минуту, как была писана статья о Вяземском, он сам как красное солнышко предстал передо мною, и известная всей публике улыбка его играла на устах его». В этом письме есть приписка самого Вяземского. Это просьба, обращенная к В. Ф. Гагарину отобрать у некоей француженки легкого поведения, переехавшей из России в Париж, письма «нашего старого знакомца», так как этот старый знакомец «может быть, же-, нится и пристроится к месту». Вяземский, очевидно, боялся шантажа со

стороны француженки. Кто этот старый знакомец, из письма не видно.

Письмо от 6 июня 1827 года дополнено ходячими сплетнями. Федор Иванович сообщает, что господа Шатилов и Алябьев содержатся под строгим караулом за крупную, но «верную», т. е. честную, игру; они убили карту в 60 000 р. и понт г-на *Времева*, после чего Шатилова ехидно спрашивали: хорошо ли он *убивает время* (каламбур). В том же письме говорится, что «кн. Лобанов-Ростовский женился на девице Киндяковой, но поелику не мог ее сделать матерью ни… (нецензурное слово), то меньше чем через год сделал с ней *вахтпарад*, то есть *развод*» (каламбур: развод и вахтпарад — синонимы на языке военных).

В нескольких письмах Федор Иванович пишет о себе и о своей жизни, пишет, что он состарился, остыл, что имущественные дела его плохи, и поэтому он живет не в Москве, а в своей подмосковной, где и предается «пьянолению». В одном письме он пишет, что он *«пробеверлешился»*, то есть проигрался[28]. По-видимому, его дела были не особенно плохи: из писем видно, что он давал Гагарину 1 000 р. взаймы и что он просил его кое-что купить в Париже, между прочим, канделябры. Правда, в следующем письме он отказывается от покупки канделябров, но тут же просит ему прислать побольше шампанского и бордосского.

Из писем видно, что он уже не тот, что был в молодости; 12 февраля 1828 года он пишет: «Я живу в совершенной скуке, грусти и пьянстве… Одна Сарра как будто золотит мое несносное существование; третий месяц или три месяца жена не оставляет болезненное ложе свое, родив мне третьего мертвого сына. Следовательно, надежда жить в наследнике похоронена с последним новорожденным. Скорбь тебе неизвестная, но верь, любезный друг, что весьма чувствительная». В этом же письме он просит Гагарина прислать ему азбуку для самого первого, детства на хорошей бумаге с гравюрами, разумея под азбуками азбуку историческую, мифологическую и т. п.; хорошо есть ли бы сие было в виде карт». Эти азбуки, вероятно, французские, так как письмо адресовано в Париж, предназначались для его семилетней дочери Сарры, при которой, конечно, в то время уже состояла французская гувернантка.

Кроме 8-ми деловых писем Толстого, есть еще одно не датированное шуточное его письмо, написанное, по-видимому, в Москве. Оно относится к кулинарному искусству. Толстой советует перед употреблением устриц держать их полчаса в соленой воде и похваляется тем, что открытие это принадлежит ему.

ГЛАВА VII Последние годы Ф. Толстого по рассказам князя П. А. Вяземского, А. Герцена, Л. Толстого, М. Каменской, Ф. Булгарина, А. Стаховича и других

С годами Федор Иванович несколько остепенился. В 1821 году он женился, а в 1822 году ему минуло сорок лет. По-видимому, перелом в его жизни произошел около этого времени. Не переставал он только вести крупную карточную игру. А. Я. Булгаков пишет своему брату 13 апреля 1827 года: «Недавно обыграли молодого Полторацкого, что женат на Киндяковой, на 700 тысяч. Тут потрудились Американец Толстой и Исленьев. <… > Как накажут одного из сих мерзавцев, то перестанут играть»[29].

Однако, по-видимому, Толстой перестал играть недобросовестно. Вращаясь в московском светском обществе, дружа с видными представителями литературного мира, ему нельзя уже было «исправлять ошибки фортуны». Если бы он это делал, например, в Английском клубе, членом которого он состоял, то его оттуда исключили бы с позором. Намеком на то, что он перестал исправлять «ошибки фортуны», могут послужить и следующие стихи Пушкина о Зарецком, прототипом которого был Федор Толстой:

> Надежный друг, помещик мирный,
> *И даже честный человек*,
> Так исправляется наш век.

Кроме игры, время Федора Ивановича проходило в занятиях своими семейными и имущественными делами, в чтении, — он много читал, в посещении церковных служб, — он сделался богомольным, и в общении с приятелями, — он особенно дорожил своими дружескими отношениями.

Он продолжал жить большею частью в Москве, часть года — в деревне, бывал в Петербурге и других местностях России — по делам или у приятелей, побывал и за границей, — вероятно, на водах. В 1840 году он почему-то около года прожил в Петербурге.

Из этого второго периода его жизни (1821–1846) сохранилось

несколько рассказов его современников или людей следующего за ним поколения. Эти рассказы, однако, далеко не всегда достоверны. Иногда они легендарны, как рассказы Новосильцевой, иногда сильно разукрашены, как рассказы А. Стаховича, и их приходится принимать con grano salis.

Боратынский, познакомившись с Федором Толстым, писал про него, вероятно, в 1826 году: «На днях познакомился с Толстым-Американцем. Занимательный человек! Смотрит добряком, и всякий, кто не слыхал про него, ошибется»[30].

Князь Петр Андреевич Вяземский неоднократно вспоминает в своих записках о своем приятеле Федоре Толстом и записал о нем несколько анекдотов.

«Неизвестно почему, — пишет Вяземский, — Толстой одно время наложил на себя эпитимью и месяцев шесть не брал в рот ничего хмельного. Во время одних пьяных проводов, когда его приятели две недели пьянствовали, он все-таки ничего не пил. Только после последней выпивки, уезжая в санях вместе с Денисом Давыдовым, он попросил его: «Голубчик, дохни на меня». Ему захотелось хоть понюхать винца».

Что Толстой одно время, а именно — около 1821 года, воздерживался от вина, подтверждается стихом Пушкина: «Отвыкнул от вина и стал картежный вор». Однако он отвыкнул от вина только временно. В письмах к князю В. Ф. Гагарину он сознается в своем «пьянолении» и пристрастии к шампанскому и бордосским винам, а Вяземскому он как-то писал из Тамбова: «За неимением хороших сливок, пью чай с дурным ромом».

Следующие анекдоты также записаны Вяземским: У кого-то в конце обеда подают какую-то закуску или прикуску. Толстой отказывается, хозяин настаивает:

— Возьми, Толстой, ты увидишь, как это хорошо. Тотчас отбьет весь хмель.

— Ах, боже мой, — воскликнул он, перекрестясь. — За что же я два часа трудился? Нет, слуга покорный, хочу остаться при своем.

Однажды в Английском клубе сидел перед ним барин с красно-сизым и цветущим носом. Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением. Но видя, что во все время обеда барин пьет одну чистую воду, он вознегодовал и сказал: «Да это самозванец! Как смеет он на своем лице носить признаки, им не заслуженные».

Племянник Федора Ивановича, ограниченный и скучный человек, просил его познакомить с Денисом Давыдовым.

Однажды, когда племянник был выпивши, Федор Иванович предложил ему познакомиться с Давыдовым.

— Нет, — отвечал племянник, — сегодня я выпил лишнее, у меня немножко в голове…

— Тем лучше, — ответил Федор Иванович и, подводя его к Давыдову, сказал: — Представляю тебе моего племянника, у которого немножко в голове.

Однажды старая тетка Федора Ивановича просила его подписаться свидетелем на гербовом акте, стоившем несколько сот рублей. Он написал: «При сей верной оказии свидетельствую тетушке мое нижайшее почтение».

Какой-то князь должен был Федору Ивановичу по векселю несколько тысяч рублей. Князь, несмотря на письма Толстого и на пропущенный срок, долго не платил. Федор Иванович написал ему: «Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой весь сполна, я не пойду искать правосудия в судебных местах, а отнесусь прямо *к лицу* вашего сиятельства».

По поводу употребления «вкось и вкривь французских слов и поговорок» Вяземский вспоминает следующий рассказ Толстого. Толстой ехал на почтовых по одной из внутренних губерний. Ему послышалось, что ямщик, подстегивая лошадей, приговаривает: «Ой, вольтеры мои!» Толстому показалось, что он обслушался. Но ямщик еще раза два повторил те же слова. Наконец Толстой спросил его:

— Почем ты знаешь Вольтера?

— Я не знаю его, — отвечал ямщик.

— Как же ты мог затвердить это имя?

— Помилуйте, барин, мы часто ездим с большими господами, так кое-чего и понаслушались от них.

Вяземский замечает: есть люди предопределенные роковою силою к неминуемому проигрышу. Толстой говорит об одном из таких обреченных: начни он играть в карты с самим собою, то и тут найдет средство проиграться.

В старые годы жила богатая барыня и давала балы, то есть давал балы ее гостеприимный муж. Жена была очень скупа. За ужином она садилась особняком у дверей, через которые вносились и уносились кушанья. Она наблюдала за слугами, чтобы они как-нибудк не присвоили себе часть кушаний и также, чтобы они сваливали ей на тарелку все, что оставалось на блюдах

после разноски по гостям, все это уплетала она, чтобы не пропадало даром. Эта барыня была сродни Американцу Толстому. Он прозвал ее: «Тетушка сливная лохань».

Где-то в Германии официально спросили Толстого: Ihr Charakter? (ваше звание). Он ответил: Lüstig (веселый).

В 1845 году Вяземский взял к себе в Петербург на Каменный остров альбом дочери Федора Ивановича Полиньки, с обещанием вписать в него что-нибудь. В письме от 23 июня Толстой напоминает ему об этом: «Полинька сердечно тебя благодарит за обещание написать ей что-нибудь, но она тоскует по своем альбо-мишке». Вяземский долго держал у себя альбом и наконец 30 августа написал довольно длинное стихотворение, посвященное Полиньке. В этом стихотворении, между прочим, находятся следующие красивые стихи:

Жизнь наша — повесть иль роман;
Он пишется слепой судьбою
По фельетонному покрою,
И плана нет, и есть ли план,
Не спрашивай… Урок назначен,
Концы с концами должно свесть,
И до конца роман прочесть,
Будь он хорош иль неудачен.
Иной роман, иная быль,
Такой сумбур, такая гиль,
Что не доищешься в нем смысла.
Все пошло, криво, без души —
Страницы, дни, пустые числа,
И под итогом нуль пиши.

Не намекал ли Вяземский этими стихами на жизнь Федора Ивановича?

В << Былом и думах» Герцен вспоминает об Американце Толстом по поводу одного «повесы в дурном роде» — князя Долгорукова, сосланного за свои проказы в Пермь, а оттуда высланного в Верхотурье; этот Долгоруков перед высылкою угостил пермских чиновников паштетом из своей датской собаки.

«Удушливая пустота и немота русской жизни, — пишет Герцен — странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас разные юродства.

В петушьем крике Суворова, как в собачьем паштете

Долгорукова, в диких выходках Измайлова, в полудобровольном безумии Мамонова и буйных преступлениях Толстого-Американца я слышу родственную ноту, знакомую нам всем, но которая у нас ослаблена образованием или направлена на что-нибудь другое.

Я лично знал Толстого и именно в ту эпоху (в 1838 году), когда он лишился своей дочери Сарры, необыкновенной девушки, с высоким поэтическим даром. Один взгляд на наружность старика, на его лоб, покрытый седыми кудрями, на его сверкающие глаза и атлетическое тело, показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы. Он развил одни только буйные страсти, одни дурные наклонности, и это не удивительно; всему порочному позволяют у нас развиваться долгое время беспрепятственно, а за страсти человеческие посылают в гарнизон или в Сибирь при первом шаге. Он буйствовал, дрался, обыгрывал, уродовал людей, разорял семейства лет 20 сряду, пока наконец не был сослан в Сибирь, откуда «вернулся алеутом», как говорит Грибоедов, — то есть пробрался через Камчатку в Америку и оттуда выпросил дозволение возвратиться в Россию. Александр его простил, и он на Другой день после приезда продолжал прежнюю жизнь. Женатый на цыганке, известной своим голосом и принадлежавшей московскому табору, он превратил дом свой в игорный, проводил все время в оргиях, все ночи за картами, и дикие сцены алчности и пьянства совершались возле колыбели маленькой Сарры. Говорят, что он раз, в доказательство меткости своего глаза, велел жене стать на стол и прострелил ей каблук башмака.

Последняя его проделка чуть было снова не свела его в Сибирь. Он был давно сердит на какого-то мещанина, поймал его как-то у себя в доме, связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Мещанин подал просьбу. Толстой задарил полицейских, задарил суд, и мещанина посадили в острог за ложный извет. В то время один известный русский литератор Н. Ф. Павлов служил в тюремном комитете. Мещанин рассказал ему дело, неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку, дело клонилось, явным образом, к его осуждению, но русский бог велик! Граф Орлов написал князю Щербатову секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтобы не дать такого прямого торжества низшему сословию над высшим. Н. Ф. Павлова гр. Орлов советовал удалить с такого места. <…> Я очень хорошо знал неосторожного чиновника[31]».

Рассказ Герцена о том, что Толстой был сослан в Сибирь и через Камчатку пробрался в Америку, неверен. Выше было

изложено, как Толстой попал в Камчатку и затем в Сибирь. Неверно также, что он двадцать лет кряду до своей ссылки буйствовал, обыгрывал и т. п. До своего кругосветного плавания (а не ссылки) он не мог 20 лет кряду так себя вести, так как при отправлении в Плавание ему было всего только 21 год от роду.

Рассказ Герцена о том, как Толстой вырвал зуб некоему мещанину, подтверждается рассказом А. А. Стаховича; по версии Стаховича, этот мещанин был подрядчик, взявшийся строить не то больницу, не то богадельню в память умершей дочери Толстого Сарры и дурно ее выстроивший. Стахович рассказывает, что Толстой приказал вырвать этому подрядчику не один зуб, а все зубы, но, очевидно, это — гипербола, и рассказ Герцена, знавшего того чиновника, который возбудил дело, более достоверен.

Герцен в «Былом и думах» еще раз вспоминает о Федоре Толстом по поводу влияния, которое имел П. Чаадаев, живя в Москве частным человеком. «Зачем, — спрашивает Герцен, — в небольшом скромном кабинете Чаадаева на Старой Басманной толпились по понедельникам тузы Английского клуба, патриции Тверского бульвара? Зачем модные дамы заглядывали в келию угрюмого мыслителя, зачем генералы, не понимающие ничего штатского, считали себя обязанными явиться к старику? <…> Зачем я встречал у него дикого Американца Толстого?»[32]

Л. Н. Толстой, двоюродный племянник Ф. И. Толстого, в детстве видел его, о чем в своих воспоминаниях написал несколько строк. Он знал много рассказов о нем от его дочери П. Ф. Перфильевой, от семьи брата Американца, Петра Ивановича Толстого, женатого на Елизавете Александровне Ергольской (сестре воспитательницы Льва Николаевича Татьяны Александровны Ергольской), и от графини Александры Андреевны Толстой, с семьей которой был близок Американец и с которой позднее был дружен Л. Н. Эти рассказы Л. Толстой отчасти использовал в своих произведениях (о чем речь впереди) — некоторые я слышал от него самого, а в своих воспоминаниях он написал об Американце Толстом следующее:

«Помню, он подъехал на почтовых в коляске, вошел к отцу в кабинет и потребовал, чтобы ему принесли особенный сухой французский хлеб; он другого не ел. В это время у брата Сергея болели зубы. Он спросил, что у него, и, узнав, сказал, что может, прекратить боль магнетизмом. Он вошел в кабинет и запер за собою дверь. Через несколько минут он вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню, на них была лиловая кайма узоров; он дал тетушке платки и сказал: «Этот, когда он наденет, пройдет боль, а этот, чтобы он спал». Помню его прекрасное лицо:

бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного человека»[33].

Выше были приведены некоторые рассказы Марии Федоровны Каменской, дочери известного художника и вице-президента Академии Художеств Федора Петровича Толстого, двоюродной племянницы Американца. Приведу еще следующие ее рассказы.

Каменская встречала Федора Ивановича у своего внучатого деда, а его дяди, графа Андрея Андреевича Толстого. Она нашла, что Американец человек как человек, пожилой, курчавый, с проседью, лицо красное, большие, умные глаза, разговаривает, шутит.

«Дедушка Андрей Андреевич сказал ему:

— Ну-ка, Американец, покажи свои грудь и руки.

Федор Иванович расстегнул свой черный сюртук и снял большой образ св. Спирйдония в окладе. Этот образ он постоянно носил на груди. Он был весь татуирован: в середине, в кольце сидела большая пестрая птица, кругом были видны какие-то красно-синие закорючки. На руках змеи, дикие узоры. Потом мужчины увели его наверх, и раздели догола. Все его тело было татуировано. Его часто просили показывать свое татуированное тело, и он никогда не отказывался, находя, по-видимому, в этом некоторое удовольствие…»

«Убитых им на дуэлях он насчитывал одиннадцать человек. Он аккуратно записывал имена убитых в с^вой синодик. У него было 12 человек детей, которые все умерли в младенчестве, кроме двух дочерей. По мере того, как умирали дети, он вычеркивал из своего синодика по одному имени из убитых им людей и ставил сбоку слово «квит». Когда же у него умер одиннадцатый ребенок, прелестная умная девочка, он вычеркнул последнее имя убитого им и сказал: «Ну, слава богу, хоть мой курчавый цыганеночек будет жив». Этот цы-ганеночек была Прасковья Федоровна, впоследствии жена В. Ст. Перфильева.

М. Ф. Каменская писала, что Федор Иванович был; мало того что богомолец, а ханжой.

Это подтверждается отзывом о нем моего отца. Лев Николаевич говорил, что Федор Иванович был богомолен и суеверен потому, что его мучили угрызения совести. Он каялся, молился и клал земные поклоны, стараясь искупить преступления своей молодости и свои жестокие поступки. Может быть, в этом сказалась благочестивая традиция рода его матери, рожденной

Майковой; ведь из этого рода произошел Нил Сорский.

Как сильный человек, Федор Иванович действовал обаятельно на некоторых своих современников, например, на Булгарина.

«О нем можно бы написать целую книгу — говорит Булгарин, — если бы собрать все, что о нем рассказывали, хотя в этих рассказах много несправедливого, особенно в том, что относится к его порицанию… Он был прекрасно образован, говорил на нескольких языках, любил музыку и литературу, много читал и охотно сближался с артистами, литераторами и любителями словесности и искусств. Умен он был как демон» и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним трудно было спорить. Впрочем, он был, как говорится, добрый малый, для друга готов был на все, охотно помогал приятелям, но и друзьям и приятелям не советовал играть с ним в карты, говоря откровенно, что в игре, как в сраженьи, он не знает ни друга, ни брата, и кто хочет перевести его деньги в свой карман, у того и он имеет право выиграть. Мне пришлось с ним свидеться в Могилеве в 1836 году, а потом я часто виделся с ним в Петербурге, где он прожил около года в 1840 году, со своим семейством… Я вспоминаю о нем как о необыкновенном явлении даже в тогдашнее время, когда люди жили не по, календарю, говорили не под диктовку и ходили не по струнка м, т. е. когда какая-то рыцарская необузданность подчиняла себе этикет и образованность».

Далеко не все отзывы о Толстом так благоприятны, как отзыв Булгарина. Граббе, лично знавший его, в своих воспоминаниях называет его представителем школы безнравственности, развратителем многих московских юношей того времени[34].

А. Стахович сказал про него: немногие умные и даровитые люди провели так бурно, бесполезно, порой преступно свою жизнь, как провел ее Американец Толстой, бесспорно, один из самых умных современников таких гигантов, как Пушкин и Грибоедов.

Из последних лет Федора Ивановича известен. еще следующий анекдот[35] В Английском клубе на субботнем обеде завязался горячий спор с одним из славянофилов — Константином Аксаковым. Во время спора к Аксакову подошел незнакомый ему белый как лунь старец с курчавыми волосами и выразил ему сочувствие, называя его по имени.

— Почему вы меня знаете? — спросил Аксаков. — Разве я имел честь с вами встречаться.

— Нет, я с вами не встречался, но вас знаю по вашим статьям и речам. А обо мне вы, наверное, слыхали. Я тот, про которого сказано: «Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом, и крепко на руку не чист» (из монолога Репетилова в «Горе от ума»).

Сочувствие Константину Аксакову, так сказать, левому славянофилу, не мешало Федору Толстому иногда высказывать ультра-реакционные парадоксы. Так, например, С. Т. Аксаков слышал, как он говорил в многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что Гоголь — враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь. В Петербурге было гораздо более особ, которые разделяли мнение Толстого, замечает Аксаков[36]. Хочется думать, что Федор Иванович высказал такое мнение из духа противоречия, как парадокс. Оно как-то не вяжется с общим складом его ума.

Гоголь лично знал Толстого. В письме от 22 октября 1846 года из Страсбурга, Гоголь объяснял М. С. Щепкину, как надо играть «Развязку Ревизора». Он пишет: «Николай Николаевич должен быть отчасти криклив, Петр Петрович — с некоторым заливом. Вообще, было бы хорошо, если бы каждый из актеров держался, сверх того, еще какого-нибудь ему известного лица. Играющему Петра Петровича нужно выговаривать свои слова особенно крупно, отчетливо, зернисто. Он должен скопировать того, которого он знал (как) говорящего лучше всех по-русски. Хорошо бы, если бы он мог несколько придерживаться Американца Толстого»[37]. Этими словами Гоголь свидетельствует, что Ф. Толстой прекрасно говорил по-русски, говорил крупно, отчетливо и зернисто.

В записках Липранди есть заметка о встрече его с Федором Ивановичем в 1844 году в Москве. «Навестив А. Ф. Вельмана, — пишет Липранди, — я встретил у него незнакомого старика с седыми и густыми волосами. Хозяин отрекомендовал нас один другому. Почти в один голос мы спросили друг друга; Не вы ли? Не вы ли?.. Граф заметил, что шпензер князя до сих пор у него (это шпензер князя Долгорукова, убитого в присутствии Толстого и Липранди, во время Шведской войны — см. с. 19) и что часто видать его вошло у него, в привычку. На другой день он взял с меня слово у него обедать. Он пригласил еще почтенного ветерана нашей эпохи Ф. И. Глинку. Я его нашел тем же: он разливал для всех суп. Разговор наш заключался в воспоминаниях о князе, о его смерти. Через несколько месяцев… те же свидания. Он обещал мне летом в деревне показать свои записки, как оказывалось, верные с моим рассказом. В следующий раз я привез

Свой дневник, но графа уже не стало…»

ГЛАВА VIII Тип Американца Толстого в русской литературе (у Грибоедова, Пушкина, Льва Толстого и других)

Как яркий тип, Американец Толстой привлекал русских писателей и послужил материалом для нескольких их произведений. С другой стороны, из этих произведений можно почерпнуть некоторые сведения о его жизни.

Стихи Грибоедова, относящиеся к Ф. Толстому, общеизвестны. Это следующее место из монолога Репетилова:

> А голова, какой в России нету, —
> Не надо называть, узнаешь по портрету:
> Ночной разбойник, дуэлист,
> В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
> И крепко на руку не чист:
> Да умный человек не может быть не плутом.
> Когда же он о честности великой говорит,
> Каким-то демоном внушаем,
> Глаза в крови, лицо горит,
> Сам плачет, и мы все рыдаем.

Эта характеристика интересна тем, что она подтверждает рассказы современников о красноречии Толстого; однако фактически оНа не совсем верна, на что обратил внимание сам Федор Иванович.

В Ленинской библиотеке (бывш. Румянцевском музее) есть рукопись «Горе от ума», принадлежавшая декабристу князю Ф. И. Шаховскому с автографом Федора Толстого. Против слов: «В Камчатку сослан был», он написал: «В Камчатку черт носил, ибо сослан никогда не был», а стих «И крепко на руку не чист» он предлагал заменить стихом «В картишках на руку не чист», причем прибавил: «Для верности портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола; по крайней мере, думал отгадать намерение автора».

Л. Н. Толстой рассказывал, что Федор Иванович, встретив однажды Грибоедова, сказал ему:

— Зачем ты обо мне написал, что я крепко на руку не чист? Подумают, что я взятки брал. Я взяток отродясь не брал.

— Но ты же играешь нечисто, — заметил Грибоедов.

— Только-то? — ответил Толстой. — Ну, ты так бы и написал.

По-видимому, этот рассказ — отголосок вышеприведенной поправки на рукописи «Горе от ума».

Об отношении Федора Ивановича к своему изображению в «Горе от ума» знаменитый актер М. С. Щепкин рассказывает следующее:

«Раз навестил я Александра Сергеевича Пушкина, который, приезжая в Москву, останавливался всегда у Н. В. Нащокина. Там были уже граф Толстой (Американец) и Жихарев, автор «Записок студента». В то время «Горе от ума» возбуждало в публике самые оживленные толки. Жихарев, желая кольнуть графа, беспрестанно повторял за обедом следующие стихи из комедии (так как общая молва относила их именно на его счет):

Ночной разбойник, дуэлист…
и пр.

Граф Толстой, как человек с большим умом, не выдал себя и при чтении этих стихов сам хохотал от души. Такое притворное равнодушие задело Жихарева за живое, и он снова вздумал повторить стихи после обеда. Толстой стал перед ним, посмотрел серьезно ему в лицо и, обратись к присутствующим, спросил:

— Не правда ли, ведь черен?

— Да!

— Ну, а перед собственной своей душой совершенный блондин.

Жихарев обиделся и замолчал»[38].

Мы видели, что Пушкин в послании к Чаадаеву вставил несколько стихов о Ф. Толстом, не называя его. Едва ли можно эти стихи назвать художественной характеристикой, слишком много в них личного. Но в «Евгении Онегине», в лице Зарецкого, Пушкин воспользовался фигурою Федора Толстого для создания яркого художественного образа. «Толстой явится у меня во всем блеске в 4-й песне Онегина», — пишет он брату, и он намеревался написать жестокую характеристику Американца. Но Зарецкий появился не в 4-й песне, а в 6-й. Тогда Пушкин уже помирился с Толстым; может быть, поэтому он несколько смягчил свою характеристику. Тем не менее Зарецкий похож на Толстого даже в подробностях.

Это видно из следующих стихов из «Евгения Онегина»:

В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет

И здравствует еще доныне
В философической пустыне
Зарецкий, *некогда буян,*
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!
Бывало, льстивый голос света
В нем *злую храбрость* восхвалял:
Он, правда, *в туз* из пистолета
В пяти саженях попадал.
И то сказать, что и *в сраженье*
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого свалясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!
Новейший Регул, чести бог,
Готовый вновь предаться узам,
Чтоб каждым утром у Вери
В долг осушать бутылки три.
Бывало он трунил забавно,
Умел морочить дурака
И *умного морочить славно*,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иные штуки
Не проходили без науки,
Хоть иногда и сам впросак
Он попадался, как простак.
Умел он *весело поспорить*,
Остро и тупо отвечать,
Порой расчетливо смолчать,
Порой расчетливо повздорить,
Друзей поссорить молодых
И не барьер поставить их.

Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать втроем,
И после втайне обесславить
Веселой шуткой иль враньем.
Sed alia témpora![39] *Удалость*

(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой.
Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей,
И учит азбуке детей.

Он был не глуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нем,
Любил и дух его суждений,
И здравый толк о том о сем.
……..
…….

Далее Онегин размышляет:
…… в это дело
Вмешался *старый дуэлист*;
Он зол, он сплетник, он речист…
По поводу вопроса Зарецкого, кто будет у Онегина секундантом, Пушкин говорит про Зарецкого:

Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял — не как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства,
По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нем должны).

В этой характеристике многие, даже мелкие черты взяты из жизни Федора Толстого: «Некогда буян, картежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же — отец семейства холостой, надежный друг, помещик мирный, и даже честный человек., старый дуэлист… Он был не глуп… он зол, он сплетник, он речист», — все это говорится как будто про Толстого. Только он не был в плену у французов, как Зарецкий. Стих «Отец семейства холостой» намекает на его связь с цыганкой, стих «И даже честный, человек» — на его нечестную игру в молодости. Этим стихом Пушкин преподнес Толстому золоченую пилюлю. Если теперь Зарецкий «*даже честный человек*», то этим подразумевается, что раньше он был не честен. Лернер обращает

внимание на то, что «Зарецкий губу закусил», когда Онегин рекомендовал ему своего слугу и секунданта М. Гильо. «Хоть человек он неизвестный, но уж конечно малый честный». Прочтя это, Толстой также, вероятно, губу закусил, замечает Лернер.

Как бы то ни было, появление в печати 6-й песни Онегина не привело к новой ссоре Пушкина с Толстым. Видно, Толстой губу закусил, а Пушкин был удовлетворен тем, что полностью отплатил ему за его сплетни.

Рассказ Пушкина «Выстрел» еще раз напоминает Толстого-Американца. В Зарецком изображен, так сказать, — житейский Толстой, в «Выстреле», в лице Сильвио, его несколько стилизованный образ, окрашенный некоторым демонизмом.

Ссора офицеров за карточным столом в «Выстреле» напоминает ссору Толстого с Нарышкиным, а история Сильвио с грфом В., особенно отсрочка выстрела Сильвио, напоминает ссору Пушкина с Толстым. Предстоявшая Дуэль с Толстым тяготела над Пушкиным несколько лот так же, как выстрел Сильвио тяготел над его противником. За это время Пушкину, конечно, приходили в голову мысли о браке, а в связи с этими мыслями он не мог не думать о том, что в ближайшем будущем ему предстоит неминуемая и опасная дуэль.

В мае 1830 года, когда Н. Н. Гончарова согласилась быть его женой, Пушкин уже помирился с Толстым. Как известно, свадьба Пушкина была отложена, и он в сентябре того же года жил в Болдине и писал повести Белкина. Тогда, думается мне, он мог спросить себя: если бы *теперь* предо мною стояла перспектива быть убитым вскоре после свадьбы или даже до нее, как бы я себя чувствовал и как бы повел себя? И тогда он свои воспоминания и переживания переработал в живой рассказ. Так, мне кажется, в «Выстреле» *отразилась* ссора Пушкина с Федором Толстым.

Лев Толстой воспользовался рассказами об Американце Толстом для создания двух героев своих произведений: старого гусара — графа Турбина в «Двух гусарах» и отчасти Долохова в «Войне и мире». Это не значит, что старый гусар или Долохов — портреты Американца Толстого. Л. Н. говорил, что он не был бы художником, если бы только описывал живых людей. Но у него было обыкновение при описании своих героев воображать себе наружность того или другого живого человека и представлять себе, что бы делал этот человек при известных обстоятельствах, Нередко также он брал для характеристики своих героев происшествия, случившиеся в действительности.

В «Двух гусарах» некий кавалерист так отзывается о графе Турбине:

«— Уж я тебе говорю, это тот самый дуэлист-гусар, ну, Турбин известный. <…> Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез? Он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерева обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист, соблазнитель; но — гусар душа, уже истинно душа!»

Разве в этом отзыве не слышится Американец Толстой? В том же духе все поступки графа Турбина: побои, нанесенные им своему слуге Сашке, вымораживание станционного смотрителя, роман Турбина с вдовушкой, отнятие выигрыша у шулера для того, чтобы выручить проигравшего казенные деньги корнета, кутеж с цыганами и т. д. При этом все его возмутительные проделки скрашиваются его необыкновенной привлекательностью, каким-то наивным и непосредственным эгоизмом и его гипнотической способностью заставлять людей любоваться им, даже любить его. Таков же был в молодости Федор Толстой, и близкое родство его с графом Турбиным чувствуется в продолжение всего рассказа.

Если графа Турбина можно по сходству с Федором Толстым назвать его родным братом, то Долохова в «Войне и мире» можно назвать его двоюродным братом. В Долохове вместе с большим сходством есть такие черты, которых, по-видимому, в Американце не было. Лев Толстой, создавая образ Долохова, вероятно, воспользовался, кроме Американца Толстого, еще другими людьми того же пошиба. Таковым был, например, некий Руфим Иванович Дорохов, сын известного генерала 12-го года. Этот Дорохов был несколько раз разжалован за дуэли и буйный нрав, так что почти всю свою службу провел рядовым. Он же обыграл Пушкина на его обратном пути из Эрзерума. Он был убит в 1852 году при реке Гойте.

Долохов так же, как и Федор Толстой, — кутила, добрый товарищ, дуэлист, безумно храбр, дважды разжалован, недобросовестно играет, ходил лазутчиком в цепь к французам и т. д. — но Долохов не Федор Толстой. Он иначе порочен, чем Американец. Он действует не только импульсивно, но и с расчетом, он нагл, он холоден и он жесток по природе. «Его взгляд вспыхивал жестоким блеском» в те минуты, когда он наверняка обыгрывал Николая Ростова, стрелял в Пьера Безухова или расстреливал пленных французов. Едва ли такова была жестокость Федора Толстого. Толстой не был жесток con amore; его жестокость проявлялась лишь под влиянием страсти или гнева, и у него бывали порывы великодушия, чего мы не находим у Долохова.

У Тургенева есть два рассказа: «Бретер» и «Три портрета», в которых действующие лица сродни Американцу Трлстому. Это Лучков в «Бретере» и Василий Лучинов в «Трех портретах», оба типы не привлекательные. Но едва ли Тургенев взял образцы своих рассказов из жизни Федора Толстого. По крайней мере, в известных мне источниках о жизни Толстого нет указаний на события, подобные описанным Тургеневым.

ГЛАВА IX Смерть Федора Толстого. Его семья. Заключение

По свидетельству своей дочери Прасковьи Федоровны, Федор Иванович умер 24 октября 1846 года шестидесяти четырех лет, в присутствии ее, его жены и любимого им семейства Прасковьи Васильевны Толстой, рожденной Барыковой. Семья Прасковьи Васильевны, вдовы Андрея Андреевича Толстого, дяди Федора Ивановича, состояла из ее самой, сына и трех дочерей. Одна из ее дочерей, Александра Андреевна, была впоследствии в дружеских отношениях с Л. Толстым, о чем свидетельствует обширная переписка между ними. Могила Федора Ивановича — на Ваганьковом кладбище.

Когда в «Русском архиве» появились рассказы Новосильцевой об Американце Толстом, Прасковья Федоровна Перфильева написала опровержение некоторых из них. Так, она опровергала рассказ Новосильцевой о том, что ее отец и Нащокин обменялись кольцами в знак вечного союза, с которыми будто бы были похоронены, что они дали слово друг другу в том, что тот из них, кто первый почувствует приближение смерти, вызовет другого, что Толстой вызвал Нащокина и что Нащокин приехал и не отходил от умирающего.

«Нащокина при этом не было, — пишет Прасковья Федоровна, — и никто из семейных не находил нужным известить его о близкой кончине графа. Никакими кольцами Нащокин с отцом не менялись. Но у отца было особого фасона финальное кольцо, по образцу которого Петр Александрович когда-то заказал такое же для себя. Отец похоронен без кольца».

«Федор Иванович умер христианином, — пишет А. А-Стахович. — Я слышал, что священник, исповедовавший умирающего, говорил, что исповедь продолжалась очень долго, и редко он встречал такое раскаяние и такую веру в милосердие божие».

Лучшее надгробное слово на смерть Толстого сказал Жуковский. Узнав о его смерти, он написал А. Я. Булгакову: «В нем было много хороших качеств. Мне лично были известны только хорошие качества. Все остальное было ведомо только по преданию, и у меня всегда к нему лежало сердце, и он был добрым приятелем своих приятелей»[40].

Жена Федора Ивановича Авдотья Максимовна пережила своего мужа на 15 лет. Она умерла в 1861 году насильственной смертью: ее зарезал ее повар.

У Федора Ивановича было несколько детей — двенадцать, по словам Каменской. Кроме Сарры, умершей 17-ти лет, и Прасковьи, единственной его дочери, достигшей зрелого возраста, все его дети умерли в младенчестве или рождались мертвыми. Он горячо любил свою старшую дочь Сарру и дал ей хорошее образование. Она была болезненна и психически ненормальна, но исключительно талантлива. Ее стихи были напечатаны, и Белинский дал о них благоприятный отзыв, а Герцен называет ее необыкновенной девушкой с высоким поэтическим даром. Она умерла в 1838 году, и ее смерть была тяжелым ударом для ее отца.

Вторая его дочь, Прасковья Федоровна, была замужем за Василием Степановичем Перфильевым, бывшим в 70-Х и 80-х годах московским гражданским губернатором. Л. Н. Толстой был в приятельских отношениях как со своей троюродной сестрой Полинькой, как он ее называет, так и с ее мужем Васенькой, он не раз упоминает о них в своем дневнике молодости.

Прасковья Федоровна умерла в 1887 году. В. С. Перфильев — в 1890 году. У них был один сын Федор, похожий на своего деда. Он был женат на княгине М. А. Голицыной и имел двух дочерей. Он умер в сравнительно молодых годах от прогрессивного паралича.

В своем очерке я старался быть объективным. Для того чтобы судить о людях, подобных Толстому-Американцу, надо перенестись в их эпоху. Его жизнь может служить живой иллюстрацией того зла, которое причинял самодержавно-крепостной строи не только угнетаемым, но и угнетателям, извращая их психику и воспитывая в них неуважение к человеку и привычку давать полную волю своим страстям и порокам.

Однажды, в 80-х годах, я слышал, как В. О. Ключевский сказал: «Почти все дворянские роды, возвысившиеся при Петре и Екатерине, выродились. Из них род Толстых — исключение. — Этот род проявил особенную живучесть». Американец Толстой вполне подтверждает слова Ключевского. Он был особенно живуч. Он был прекрасным представителем рода Homo sapiens с здоровой наследственностью и со свойственными некоторым представителям рода Толстых страстностью, эгоцентризмом и дикостью. Л. Н. Толстой в одном письме (1865 г., окт.) к своей родственнице Александре Андреевне Толстой, с семьей которых был близок Американец, пишет даже про нее — сдержанную и тактичную воспитательницу великих княжен: «В вас есть общая нам толстовская дикость. Недаром Федор Иванович татуировался».

В Толстом-Американце были и хорошие качества, что отмечено Жуковским. Он проявил независимость характера, преданность друзьям и семье, готовность рисковать жизнью на войне, ради приятелей или хотя бы для восстановления своей условной чести, и в конце жизни он раскаивался в своих преступлениях.

Тем не менее он был не только «в мире нравственном загадка», по выражению Вяземского; он был человеком безнравственным и преступным. Он жил лишь в свое удовольствие, пьянствовал, обжирался, развратничал, обыгрывал, убивал, мучил свои крепостных слуг и т. п.

Но можно ли его винить за это? Мораль, усвоенная им с детства, состояла лишь из учения церкви, оправдывавшей крепостное право и превозносившей самодержавную власть, и из условной этики гвардейских офицеров. Все, что он делал, делалось также и другими и не осуждалось общественным мнением. Он только делал это откровеннее и с большей страстностью, чем другие, и он был убежден, что имеет на это полное право.

Кто знает? Может быть, при другом воспитании и в другой среде его страстность и его выдающиеся способности обратились бы на другое, — на полезную работу и на служение людям.

ИСТОЧНИКИ

Родословные книги кн. П. Долгорукова, Г. А. Власьева, Руммеля и Голубцова.

Пушкин А. Академическое издание.

Лернер. Пушкин и его современники. Спб., 1911. С. 1—20.

ВигельФ. Записки. М.,1 892.

Липранди. Замечания на записки Ф.Вигеля.

Булгарин. Воспоминания. Спб., 1848. Т.5. С.201–210.

Вяземский П. А. Соч. Т.3. С.161–163; Т.4. С. 8, 282; Т.8.С.37, 58, 350, 369, 375, 461, 505.

Лернер. С кого Пушкин списал Зарецкого// Русская старина. 1908. Февр.

Новосильцева. Рассказы Нащокина// Русскаястарина. 1878. XVIII. С.718; XXI.С.538–539; XXII. С.282–283,334; и возражения П. Ф. Перфильевой. XVIII. С.718.

Стахович А. Клочки воспоминаний//Литературный вестник. VII. Кн.2, 43.

Каменская М.Ф.//Исторический вестник.1894. Т.57. С.41–45.

Записки адмирала Крузенштерна. Т.1. Спб.,1810.

Лисянский. Записки о плавании на «Неве». Спб.,1812.

Девять писем гр. Ф. И. Толстого к кн. В. А. Гагарину (рукопись). Остальные источники указаны вт ексте или в сносках.

notes

Примечания

1

Истинное счастье бывает лишь на обычных путях *(фр.)*.

2

Дальнейшая судьба детей Ивана Андреевича Толстого следующая:

Мария, р.1779 г., муж Степан Абрамович Лопухин, егермейстер.

Федор (Американец), р. 1782, ум. 1846, отст. полковник, жена Е. М. Тугаева.

Вера, р. 1783, ум. 1879 (96-ти лет), муж Семен Антонович Хлюстин.

Петр, р. 1785, ум. 1861, отст. мичман; жена Елизавета Александровна Ергольская (сестра Т. А. Ергольской, воспитательницы Л. Н. Толстого, и мать Валерьяна П. Толстого, мужа сестры Л. Н. Толстого М. Н. Толстой).

Януарий, р. 1792, ум. 1835, отст. майор, жена Ек. Дм. Ляпунова (ум. 1882 г.).

Екатерина, муж капитан гвардии Шулинский.

Анна, умерла до 1832 г., девица.

3

Здесь и далее разрядка автора — С. Л. Толстого. — Ред. *(замена на курсив в эл. версии)*

4

Из рассказов Д. В. Грудева// Русский архив, 1898. № 2.

5

Каменская, рассказывая этот анекдот, относит его к королю Сандвичевых (Гавайских) островов, но этого не может быть, потому, что «Надежда» стояла у Гавайских островов очень недолгое время, и Крузенштерн ни о каком короле этих островов не упоминает.

6

«Нева» присоединилась к «Надежде» в Макао 21 ноября 1805 г., т. е. через полтора года.

Из рассказов Д. В. Грудева// Русский архив, 1898. № 2.

8

В моем детстве я слышал от моего отца этот куплет, который он от кого-то слышал в своем детстве; не знаю, известно ли ему было его происхождение.

9

Из истории Преображенского полка видно, что Толстой 10 августа 1805 г. был выписан из Преображенского полка в Нейшлотский гарнизон. Вероятно, к этому времени до Петербурга дошло донесение Крузенштерна о его поведении на корабле, вследствие чего он «попал из гвардии в гарнизон».

10

Михайловский. Данилевский. Описание шведской войны 1808–1809 гг. С. 362.

11

«Дать туза» значит ударить, отсюда слово «тузить».

12

Прогулка в Тригорское//С. петербургские ведомости. 1866. № 139 (цитирую по Лернеру).

13

В. Жуковский. Соч. 7-е изд. Т. 6. С. 572.

Батюшков. Соч. Т. 3. С. 37.

15

Здесь и далее в приведенных автором цитатах обнаружены многочисленные неточности. — Ред.

Исторический вестник. 1903. Апр. С. 210–211.

17

Там же.

18

Пушкин В. Л. Соч. Прил. к журн. «Север». 1893. Окт.

19

Жуковский В. Соч. 10-е изд. Т. 6. С. 572.

Вяземский П. А. Соч. Т.1С.159.

Альм. «Литературная мысль». Пг., 1923. Вып 2. С. 237–238.

Русский архив. 1865. № 2. С. 39.

23

Вяземский П. А. Соч. 1886. Т. 10. С. 3.

Пушкин. Академ, изд. Переписки III. С. 456–457.

25

Русский архив. 1897. № 7. С. 435.

26

П. В. Жихарев, один из арзамасцев, впоследствии обер-прокурор Московского сената, во время вынужденного пребывания А. И. Тургенева за границей заведовал его делами, растратил его состояние, а себе, на деньги Тургенева, но на имя жены, купил имение (см.: Русский архив. 1902. № 1. С. 85).

выб-ов — Так Толстой называет Воспитательный дом, при котором состоял ломбард.

28

Выражение «пробеверлеился» происходит от названия пьесы «Беверлей», трагедия мещанская в пяти действиях, с французского языка перевел российский придворный актер Дмитревской. Спб., 1773 и М., 1787. Главное действующее лицо — игрок. Имя его стало парицательным. Эпиграмму на писателя и картежного игрока И. Е. Великопольского Пушкин начинает стихом «Поэт — игрок, о Беверлей — Гораций» (Великопольский писал в рорацианском стиле).

29

Русский архив. 1901. № 9. С. 30–31.

Боратынский. Соч. 4-е изд. Казань. 1885. С. 525 (по Саитову).

31

Герцен А. И. Соч. Женева, 1879, Т. 6. С. 293–294.

32

Герцен А. И. Соч. Женева, 1879, т. 6. С. 278.

33

Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография. Т1. Берлин. Изд. И. П. Ладыжникова. 1921. С. 89.

Гос. архив. 1878. Ед. хр. 1. Л. 837 (по Саитову).

35

Этот рассказ передается по «Рассказам Нащокина» Новосильцевой и по «Клочкам воспоминаний» А. Стаховича.

Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. 1892. Кн. 5. С. 360.

Щепкин М. А., Щепкин М. С. Изд. А. С. Суворина. 1914. С. 219.

Щепкин М. А., Щепкин. М. С. С. 219.

Но времена иные! *(лат.)*. — *Ред.*

Жуковский В. Соч. 7-е изд. Т. 6. С. 572.